

А. Гедеонов
За северным полярным кругом.

Часть 1. От Якутска до Колымска.

I.

Взгляните, читатель, на карту, На крайнем северо-востоке Сибири вы найдете вытекающую с вершины Яблоневого хребта и впадающую в Северный Ледовитый океан реку Колыму. В срединном течении её под 67° с. ш. приютилось ничтожное селенье, носящее название города, — Средне-Колымск. Туда-то и лежал мой путь.

После долговременного и крайне утомительного, полного приключений пути, я прибыл, наконец, в Якутск с тем, чтоб, отдохнувши, следовать дальше к месту моего назначения, отстоящего от Якутска по официальному расчету в расстоянии 2,300 вёрст, а в действительности гораздо более, так как характер и географическое положение местности не допускают возможности даже приблизительно определить точное расстояние. Здесь версты «баба меряла клюкой и махнула рукой».

Якутск — последний к северу пункт, носящий кое-какие признаки, не скажу — цивилизованного, но мало-мальски культурного центра.

К сожалению, расчеты мои не оправдались, и, вместо отдыха, я вынужден был с месяц мыкаться по Якутску, собирая справки о Колымске и запасаясь теплой одеждой, обувью и провизией. Разноречие местных обывателей о дороге и самом Колымске, непримиримое разногласие их в том, что необходимо иметь в виду, отправляясь в местность, граница которой, фигурально выражаясь, тын, а за ним провал — конец мира, — ставили в тупик и приводили в смущение. Одни говорили: «Теперь отсюда туда тепло пойдет, шибко не теплитесь одеждой». Другие, напротив, пугали холодными мартовскими утренниками и пургами в камнях, т.е. в скалах. В одном месте советовали запастись в Колымск, для обмена на провизию, товар (чай, ситец, листовой табак и проч.), предсказывая, что за деньги там ничего не найдешь и с голоду околеешь, что и деньги-то там не всякому известны, а в другом смеялись над этими советами и говорили: «Сей год и без того Колымск товаром набили; наплачетесь с ним. Денег припасите: деньги всё найдут». Я совсем был сбит с толку и, благодаря разноречивым сведениям и советам, уехал в плохой одежде, без возка, с малозначительным запасом съестных припасов и ещё меньшим количеством необходимейших предметов для жизни в самом Колымске.

Как это ни странно, но даже в Якутске — административном центре, к которому непосредственно принадлежит Колымск, сведения о нём сбивчивы, туманны, часто не соответствуют действительности и во всяком случае еще более дики, нежели дики на самом деле условия края, в который я держал путь.

«Проехать летним путем из Якутска в Колымск составляет подвиг со стороны лиц, отваживающихся на это». Так гласить один из официальных отчетов Якутской области.

Бесчисленное множество больших и малых горных рек и речек разливаются, затопляя высокие берега. Стремительное течение и глубина их часто не дают возможности перебираться через них ни в брод, ни даже на местных, ко всему выносливых и привыкших, лошадях, задерживая путника нередко на многие недели. Его преследуют тучи комаров. Мучительно отзываются непроходимые топи и болота и дремучие, первобытные леса, проезд по которым труден и небезопасен. В течение многих месяцев приходится удовлетворяться сухой пищей: чаем с сухарями и растопленным маслом, которое возят в бочонках, а когда все это кончится, выжидать дичи, или заниматься промыслом рыбы в озёрах и реках. Чего стоит один перевал через цепь Верхоянских гор, продолжающийся иногда, по причине дождей, ветров и высокого подъёма поперечных рек, до 30 дней! Горы, скалы, обширные озёра, которые нужно объезжать, ущелья, провалы, безлюдье, беспомощность... Сидеть, при таких условиях, верхом на коне в продолжение 3-4 месяцев, шаг за шагом отвоевывая каждую пядь пространства, подвергаться сырым, холодным дождям вперемешку со снегом, ночевать на мокрой земле в тонкой холщовой палатке и в довершение всего на всем почти пути не встречать людей, так как жители в летнюю пору скочевывают с придорожных мест в глубь лесов за промыслом рыбы и птицы, или в тундры за поисками мамонтовой кости — решиться на всё это — действительно подвиг!

Не говоря о казаках, сопровождающих почту, и об отправляемых во всякое время года ссыльных, летом по этому пути ездят только купцы, делающие пространство в 3 тыс. вёрст в течение времени с мая по сентябрь или октябрь, а в особенно дождливые годы прибывающие с своими караванами в Якутск и в декабре.

Из Якутска в Колымск можно проехать тремя путями.

На урочище Ай-Мекель до Верхне-Колымска, а оттуда по полым водам Колымы до Среднего. Это самый кратчайший, исключительно конно-верховой и неудобный путь. По причине глубоких снегов (до 2 аршин), скудных пастбищ, редкому населению (на 500 — 600 в. одно жильё, да и то не всегда его найдешь на прошлогоднем месте), недостатку в лошадях и отсутствие дорог, этим трактом ездят только подрядчики-поставщики муки, соли, пороху и свинцу

для казенных надобностей Колымска. Выезжая в ноябре-декабре из Якутска, подрядчики плетутся верст по 15—20 в день от кормовища к кормовищу, пока не достигнут Верхне-Колымска. Здесь они частью сами строят, частью заказывают местным инородцам плоскодонные лодки, на которых в августе или начале сентября переплавляют груз до Среднего, где и сдают его в казну. Этим путем, между прочим, в 1893 году проехал в Колымск, с научной целью, член Импер. Геогр. Общества И. Д. Черский с женой и 12-летним сыном.

Следующий тракт, так называемый, старо-купеческий, идёт через Булун, Усть-Яну и Русское Устье. Чтобы выехать на эту дорогу, купцы из Якутска в лодках добираются по Лене до Булуна. Далее на оленях до Русского Устья, где издавна поселилась небольшая горсть промышленников, и здесь нанимают собак до Средне-Колымска. От Русского Устья до Колымска более 700 в. — пустыня. На этом расстоянии нет ни одного жилья. Страшная даль и не менее страшной глубины снега. Дорога тянется 5-6 месяцев. Купцы иногда предпочитают её вследствие дешевизны доставки товаров.

Наконец, тракт казенный через Верхоянск. В расстоянии от Якутска до Верхоянска его прорезывают две пустыни: Тукулан с необычно быстрой речкой того же имени и переход через цепь Верхоянских гор. Эти места столько же необъятны, сколько и необитаемы. Громадное пространство сплошь усеяно скалами и гольцами. Последние бывают величиною от самых мелких кремней до громаднейших тысячепудовых гладко отшлифованных камней, по которым езда — невыносимая пытка. По ним пробираешься с большим трудом. Сделав десять верст, чувствуешь себя усталым и разбитым. Невыносимый скрип полозьев о сухой камень, на котором не держится снег, расстраивает нервы. Нарта (сани) ежеминутно скользить по камню, падает с него; встречая следующий — упирается; опять выберешься и снова упадешь на камни — и так по несколько суток в ряд. Верхоянский хребет вечно в тумане. Страшные пронзительные ветры дуют беспрестанно. Облака над головой, перевал очень крут. От этих пустынных гор веет могилой: туманное небо, оголенные скалы и вымерший, обнаженный лес... Это совершенно необитаемые места: лишь изредка в эти неприступные и страшные места заглянет дикий тунгус, гоняясь за не менее дикими чубука (горный баран) и сохатым.

В верстах 40 от Верхоянска, этот тракт, сворачивая в сторону, разветвляется на две дороги. Одна из них идёт параллельно почтовому до границы Колымско-Алазейского хребта, где снова с ним соединяется. Эта дорога хоть и длиннее, но за то население по ней гуще, а это и составляет главный интерес кочующего купечества, жертвующего временем ради коммерческих выгод.

Мне остается сказать ещё несколько слов о казенно-почтовом тракте, открытом сравнительно недавно, в 30-х годах настоящего столетия.

Возраставшее значение Колымска, как северного центра меновой торговли русских с инородцами, куда к известному времени стекаются представители разноплеменных дикарей с дорогими мехами и мамонтовою костью для обмена их на кирпичный чай, листовой табак и, главным образом, спирт, вызвало необходимость в более правильных и частых сношениях с этим крайним пунктом русских владений на северо-востоке. С этого приблизительно времени начинается и значение Колымска, как места ссылки. Бывали и прежде случаи ссылки в Колымск (при Бироне), но случаи единичные. Сперва польское восстание, а затем развитие скопчества и других вредных сект в России, вызвало необходимость в таком месте, чтобы Макар, загнав телят, не мог даже понять: где он и как туда попал. Этим-то местом и оказался Колымск с его подавляющим своими размерами округом. В выборе дороги и станционных пунктов руководились исключительно жилыми местами якутов и пастбищами для лошадей и оленей. Всё громадное расстояние было принято за 2300 в. Чтобы понять, насколько эта цифра произвольна или фантастична, я укажу на тот способ, который был в употреблении у чиновников при проложении дорог. Едет себе чиновник в теплом возке, обитом внутри кошмами или звериными шкурами. На станции он посмотрел на часы. Доехал, положим, к зимовью, проснулся, опять взглянул на часы — прошло несколько часов.

— Как ехали?— спрашивает у казака.

— Хорошо ехали, хлётко.

— А!.. — протянет чиновник и отметит в своей книжке столько вёрст, сколько, смотря по быстроте езды, ему покажется нужным записать. Но за хорошую лисицу, или вообще дорогого зверя отметит вёрст побольше, уступая просьбе якута почтосодержателя, в интересах которого, разумеется, выгодно, чтобы расстояния между станками были показаны бóльшими против действительности, так как, помимо общей платы за гоньбу, ему идёт еще поверстная плата. Это, конечно, дела давно минувшие. А вот пример настоящего. Среди подрядчиков на содержание станций явилась конкуренция. Чтобы отбить у противников охоту торговаться, один из богатых якутов предложил гонять почту на расстоянии 50 вёрст за 30! Таким образом сплошь и рядом вы услышите на вопрос: сколько верст между станциями, ответ: «прогонных 20, а настоящих 30, 40 и т.д.». И действительно, всякий, кому доводилось ехать по этим первобытным местам, знает, что 20—30 вёрст случается делать 8 — 10 часов.

Дорога постоянна только по лесу, где она раз на всегда прошла по просеке и отмечена зарубками и крестами на деревьях. В остальном пути она идёт по озерам, полям, рекам и горам как придётся, в зависимости от количества

выпавшего снега, а иногда от первого проехавшего по снегу человека, по следу которого и открывается дорога.

Не смотря на пустынную, дикость и неприступность, по всем трактам вы не раз встретите прекрасные виды, поражающие и пленяющие вас грандиозностью и дикой, но величавой прелестью места. Испытываешь невольное уважение и страх к этим бездушным, нетронутым, девственным скалам, непроходимым, дремучим лесам, где ещё никогда не ступала человеческая нога, к безжизненным, но чудным и поражающим громадам. Яркое небо, яркие крупные звезды, необыкновенный, неподдающийся описанию вид полярного сиянья, свет и тишина сменяются вдруг непроглядной тьмою, неудержимой, всезахватывающей бурей. Она кипит и клокочет. Снег, ветер, свист, стон — всё смешалось, всё слилось. Безумная ночь воет и плачет черными, как её тьма, слезами... С обеих сторон дороги стеной стоят узорчато-убранные снегом деревья. Подул ветер и сорвал белый, снежный убор, а на утро — глядишь, опять они стоят принаряженные точно каким-то волшебством.

II.

Стояло ясное морозное утро. Не смотря на сорокаградусный мороз, казалось тепло: настолько привычка к захватывающим дух холодам выработала терпимость к морозам в 30 и 40°.

— Лошади пришли, — войдя ко мне по дорожному одетый, сказал один из моих двух казаков, Константин. — Можно и одеваться.

Я вышел во двор. У ворот стояло двое саней. Тощие лошаденки были кое-как впряжены по две, в старой без шлей сбруе. Помню, меня особенно поразили дуги. Это были не настоящие русские дуги, а криво перегнутый сук белой северной берёзы. Ленивый вид этих заморенных, мелкорослых, мохнатых лошадок, сани, нагруженные почти исключительно съестными припасами, плохо одетые в суконные армяки поверх вышитых курток ямщики-якуты, к виду которых я ещё не привык, вполне гармонировали с моим настроением. Страшен был момент отъезда, страшна мысль о службе в далеком крае безлюдья, жестоких морозов, отсутствия всего, с чем сжился и сроднился, что составляло потребность души и тела. Ничтожный городишко Якутск, на улицах которого можно всегда встретить разъезжающих верхом на быках обывателей, представлялся воображению центром высокой цивилизации, местом культуры и роскоши в сравнении с тем, что ждало меня там, далеко за этими высокими, остроконечными снеговыми вершинами гор...

Мы, т.е. я и моя спутница, уселись в сани.

— Дже, баратур, догор! (Ну, погоняй, приятель!) — скомандовал Константин переднему ямщику, усевшись на задних санях со своим товарищем — Митрофаном.

— Гот, Гат!..¹ — закричал ямщик сквозь туго обмотанный вокруг всего лица зелёный шарф.

Лошади тронулись и поплелись мелкой рысцой, а ямщики все покрикивали: гат! гот! Выехали за город и спустились на Лену. В месте нашей переправы ширина Лены доходить до 15 вёрст.

Ровно бегут лошади, визгливо скрипят неподшитые полозья по широкой дороге. Не сразу поддающееся морозам быстрое течение Лены образовало огромный бесконечный торос². Надоело, наконец, смотреть на однообразную реку, да и ветер подымался. Ямщик, по-видимому, дремал, по крайней мере, голова его клонилась, и он уже не подгонял лошадей.

— Тур! (стой) — закричал казак, — тохто! (погоди).

Якут безмолвно потянул возжи, и лошади охотно ему повиновались. Он встал с своего места, достал из-под облучка какой-то предмет и начал им скрести лошадей. Это была особая, на деревянной рукояти, железная скребница. От холода образуется на лошади снеговая куржа, которую в пути все северные жители счищают через каждые 5—10 вёрст, иначе она оледенеет, и лошадь озябнет.

Константин достал бутылку и чайную чашку и, налив её до краёв, сказал, обращаясь к якутам:

— Водки выпьем?

— Э-эй, тоёлум! (господин) — как-то сладострастно протянул один из них. — От такого лекарственного предмета разве откажусь?

Он торопливо спустил вниз свой шарф, закрывавший лицо так, что только одни узкие щели глаз были видны, торопливо же взял из рук казака чашку с драгоценным напитком и, поклонившись несколько раз мне, а потом казакам, медленно выпил водку. Несколько секунд он держал в своих руках порожнюю чашку и с сожалением глядел на дно. Лицо его выражало смесь удовольствия и веселости.

— Багыбалерын!³ — поочередно опять поклонился нам якут. — Теперь поедем хорошо.

Короткий северный день подходил к концу, когда, перерезав Лену и выбравшись на берег, мы поехали по полю. Жилья и загороженные пашни

¹ Так якуты погоняют лошадей.

² Реки Сибири почти не становятся сразу. Глыбы льду отрываются от общей массы и сбиваются на берегах, или у более крепкого льду. Это и есть торос, по большей части портящий дорогу на всю зиму.

³ Русское слово спасибо с окончанием *лерын*, употребляемым по отношению к нескольким лицам.

часты, ехать не скучно. Глазу есть на чём остановиться. До ст. Алдан, на реке того же имени, 200 верст, станций 7, расстояния небольшие, 20—30 вёрст.

— Бу бар, кальбыпыт (Вот, приехали), — сказал проводник.

На небольшом дворе. огороженном лёгкой изгородью, к которой приставлены для защиты от снега большие, замерзшие глыбы навоза, стояла обширная, но низкая юрта, из трубы которой валил белый густой дым.

Вошли, разделись. О нашем приезде здесь знали заранее, и потому самовар шипел уже на столе. Богатей якут, князь жил нучалы, т.е. по русски. Опрятная юрта, кухня со скотником на чёрной половине, в той же юрте, разгороженной на две части необтесанными брёвнами. У самого входа в него стоит ручной жернов для перемолки ячменя и ярицы в муку. Подошла княгиня со своим чайником к Константину. Заварив чай, она поставила все, сколько у неё было чашек, на стол, мы свои, и села разливать. В двух посудах стояло молоко: в одной лучшее для нас, в другой — для казаков и своих. Без всякого с нашей стороны приглашения она угощала чаем всех присутствовавших в юрте. Казак раздал всем по маленькому кусочку хлеба и сахара. Не успел я взять в руки ящик с табаком, как, ожидавшие, вероятно, этого момента, якуты мигом побросали свои чашки и один за одним потянулись ко мне с протянутыми руками. Все: старые, молодые, подростки, дети и даже их сиятельства стояли перед мною и, широко улыбаясь во весь рот, держа наготове согнутую ладонь, безмолвно ждали табачной подачи. Пришлось обделить всех.

— Ночевать будете? — спросил уже за десятой чашкой джагабул¹.

— Нет, не будем.

Джагабул выразил на своем лице сожаление.

— Куда теперь ехать? — урезонивал он. — Ночь идет. Ветер подымается; с дороги собьетесь — мне же за вас отвечать.

Он продолжил уговаривать. Очевидно, ему хотелось ещё раз напиться нашего чаю и покурить русского табаку.

— Вели готовить лошадей, — не слушая его, приказал один из казаков.

Стали укладываться. Княгиня подходит:

— Господин! Поделись от своего сахара.

Константин дал ей несколько кусков. Она, недовольная что-то проворчала, должно быть, обругала.

Первое впечатление от якутов — смесь простодушного нахальства, лукавства и корысти.

Джагабул напороочил. Не успели тронуться, как, действительно, подул довольно сильный ветер. Путь опять шёл по «зимнику» т.е. Леной и только некоторое время «летником» — лесом. Сумерки подкрались сразу и к ночи

¹ Джагабул — русское слово есаул, управляющий станцией.

совсем засвежело. Белесоватые тучи стремительно носились по небу. Они то сходились, то, снова расползаясь, открывали звезды, лившие свет на печальное ледяное поле. Ночь выдалась хмурая и холодная. Как я ни кутался в свой башлык, к которому якуты относятся довольно иронически, холод и ветер находили себе место и порядочно знобили шею, уши и лицо.

— Скоро ли станок? Ведь двадцать две версты, а едем, Бог знает, сколько времени — ворчал я, недовольный медленностью ямщика.

— Тойон (господин)! — сказал якут, когда Константин перевел ему мои слова, — 22 версты прогонные, а их всех 40 — вот сам увидишь.

И он сделал вид, что подгоняет лошадей. Дернул несколько раз вожжи, помахал в воздухе кнутиком, покричал: гат, гат! и опять поплелся мелкой, однообразной рысцой.

Наконец, в первом часу ночи, пристально всматриваясь в темноту, я завидел мигавшие из трубы огоньки. Приехали. Такая же юрта, такие же якуты, снова чай, попрошайничество и на этот раз удовольствие, что не едем дальше, а ночуем.

На утро выехали при довольно ярком солнечном свете. По обеим сторонам солнца две столбообразные радуги. Солнечные лучи, отражаясь на них, образуют звездообразные углы. Не веришь, что это природное явление. Точно художник подобрал самые красивые цвета красок и нарисовал эту чудную картину. Дорога идёт по озёрам, на которых там и сям во множестве расставлены конусообразные клетки, искусно сплетенные из ивняка. Это морды, или ловушки для мелкой рыбицы: бестелесной и костлявой мундушки.

Дороги хороши. Утомляет только медленная езда. С понятным нетерпением стремимся мы скорее добраться до Алдана, мечтая об оленях, о быстрой езде. Эти 200 вёрст, который по справедливости, якуты считают за 300, кажется, не кончатся. Пять дней в пути, а осталось сделать ещё 40 вёрст, которые пришлось нам особенно трудно. Усталые лошади совсем отказывались исполнять свою службу. Положение было критическое. «Не иначе, как кормить станем на поле коней», советовал Константин. — Чейпиктер турор (Чайник ставь)», приказал он одному из ямщиков, а другому велел стреножить лошадей. Но из шести, две лошади окончательно расписались. Они лежали и не ели.

— Бросить надо, — невозмутимо сказал якут.

— А как дальше поедем? — не без тревоги спросил я.

— Тойон поедет, тойон пусть не печалится. Мы — якуты уже перенесём мученья, а тойон пешком не пойдёт. Бир кёс халла (десять верст осталось).

— Хороший дом на станке? — спросил я.

— Дом? Дом ничего, дом хороший.

Но уже в нерешительном тоне его ответа чуялось, что дом вовсе не из хороших.

Часа два простояли. Подкормили лошадей, напились чаю. Начинаем понемногу привыкать к маслу, которое грызём по кусочку.

Якуты поджарили мясо *на рожне*: нарезав его на мелкие куски, нанизали их на гладко выструганные палочки и, воткнув в оттаявшую около огня землю, поминутно поворачивали их, пока мясо не было готово. В этом виде оно очень сочно и вкусно.

Вчера и сегодня едем верхом. Только спутница в нарте. Здесь уж не встретите русской упряжи. Под нарту лошадь седлают так же, как и верховую. Длинный ремень привязывается вместо оглобель к кольцам полозьев и запрокидывается на седло между лукой и рукоятью его. Лошадь, таким образом, тащит нарту не грудью, а одной спиной. Чуть маленький спуск, сани накатываются на задние ноги лошади, и она начинает пугливо биться и дурить. Ямщик сидит в седле на той же, или на другой лошади, цугом привязанной к первой. Упряжь первобытная, сложная, нецелесообразная и в высшей степени утомительная для лошадей. Якуты употребляют её неохотно и только в тех случаях, когда везут священника, чиновников, женщин, — словом, тойонов.

Поутру, когда мы выехали со станка, один из ямщиков, сопровождавший поклажу, отстал. Дождавшись его, Константин приказал ему не отставать, ехать за нами следом. «Лошади нейдут», грубо оправдывался якут, пустив при этом в Константина бранным русским словом, которое якуты отлично усвоили. Тогда казак, осердясь, ударил его. Якут рассвирепел и выхватил из ножен остроконечный якутский нож. Но в эту критическую для обоих минуту подскочил другой казак — Митрофан и с силой выхватил нож из рук якута, довольно ещё молодого парня. Рука Митрофана была вся в крови. Как я ни просил казаков, они таки побили якута. По их словам, этот якут известный вор и отставал от нас для того, чтоб украсть что-нибудь из наших плохо увязанных сум.

Станция Алдан. Маленькая, низкая, тёмная и грязная юрта. Воздух удушлив и спёрт. Пахнет навозом, дымом и ещё чорт знает чем. У порога двери, в которую вход возможен только боком, мокрота и липкая слизь. Выйдя зачем-то во двор, я чувствую, что подошвы моих торбасов примерзли к земле. В камине несколько полусырых или гнилых поленьев не горят, а тлеют. Внутри юрты тянутся из него бурые полосы дыма. В золе на опечке лежит громадная голень конской ноги с копытом и издает подобающий ей запах. Отвратительно грязная старуха с всклокоченными седыми волосами, выбивавшимися из-под чепчика цвета того самого навоза, по которому она ступала, право же походила,

если не на Шекспировскую, то на одну из тех ведьм, который состоять на посылках у абагы — подземного, надзвездного, морского, полуденных и полночных стран бога зла — сатаны. Возле камелька вплотную стоит нарта, а на ней дряхлый старик, которому, по его словам, 94 года. Он мал, как ребенок, и сух, как скелет. Ему холодно и он лежит голый, подставив свою обнаженную спину огню. Маленький, совершенно нагой якутёнок, со вздутым животиком, тоже у камелька, выставил вперед брюхо. Одной рукой он гладит его, а в другой держит у рта кусок сырого кобыльею сухожилия. Он тщетно силится откусить от него, злится и плаксиво ворчит. Закоптелые, чёрные стены и на них вековая пыль. Грязные орны (глухие скамьи-кровати вдоль всех стен юрты) покрыты какими-то подозрительными шкурами и лохмотьями. Сесть страшно, стоять на мокрой земле и того хуже. «Святые угодники! — взмолился я. — Унесите отсюда на драконах, оленях или лошадях, но только поскорей — поскорей!» Но моей мольбы никто не услышал, и нам пришлось ещё многое испытать в этой юрте, по сравнению с которой собачья конура — роскошный дворец.

Расповерив (развязав) ремни у нарты с кладью и доставь чайники, сухари, мясо, хлеб и круг топлёного масла, казаки вошли в юрту. Они, по-видимому, ничему не удивились, ибо давно привыкли к подобной обстановке и только покричали на старуху за лениво горевшие дрова и за то, что чайники ещё не поставлены. По нашей просьбе они заставили старуху немного убрать и выстлать пол свежим сеном. Но лучше бы она этого не делала. Лопата тронула наслоение, быть может, ещё доисторического периода, и по юрте прошел такой острый удушающий смрад, что мы принуждены были выйти на некоторое время во двор, где довольно таки долго простояли; только холод и желание скинуть меховую одежду, к тяжести и неудобству которой мы ещё не успели привыкнуть, заставили нас войти в юрту. Смрад был тот же, но внешний вид более удовлетворительный. Старуха разбросала по полу толстый слой свежесухачего, очень сохранившегося сена, выскоблила до бела стол, с орнов убрала куда-то тряпье, но всё что-то ворчала. «У нас архиерей был и тот не заставлял этого делать. А это кто-кто (кимере-кимере) приехал — *от-роду* не знаю...

— Американ тойотер (американские господа), — сказал Митрофан.

Не успел он произнести этих магических слов, как старуха начала суетиться. Она проворно выскочила, притащила охапку сухих дров, весёлым заревом осветивших юрту, и вообще обнаружила признаки, несвойственной её возрасту, живости. Тут же, на наших глазах, она набросила на себя длинную, новую, синюю рубаху, набрала в рот воды и, умывшись вытерла лицо чепцом с своей головы. На столе появилось угощение: на одной медной нелуженой

тарелке мерзлая ягода-брусника, на другой — мерзлое же, нарубленное небольшими правильной формы кусочками, якутское масло — хапях, о приготовлении которого я скажу позже — и, низко поклонившись сперва мне, потом моей спутнице, смиренно сказала: «Кушай-да, тойон! Кушай-да, хатын»!.. (госпожа).

Чтобы понять смысл слов, сказанных Митрофаном, нужно припомнить, что по этим самым местам проследовала часть экипажа «Жанетты», американского парохода, затёртого льдами в Ледовитом океане. Американцы щедро одарили якутов деньгами и различными подарками, а по прибытии на родину, выслали им много хороших и полезных вещей.

Ни я, ни хатын не дотронулись, однако, до старухино угощения, потому что всё было подозрительной чистоты и от всего несло запахом навоза.

В юрте, кроме старухи, старика, продолжавшего лежать спиной к огню и пытливо наблюдавшего мнимых американцев, да мальчика — не было никого. На вопрос о джагабуле, старуха сказала, что он уехал за 30 вёрст за лошадыми, так как олени устали, и он решил сменить их на лошадей. По её словам, он должен прибыть к утру. Но поутру его не было. Не приехал он и к вечеру. Пришли какие-то якуты, нюхом узнающие о проезжих русских, в надежде на подачку. Вид у всех нахальный. Казаки рекомендуют их, как воров и плутов. Один из них, заметив на столе табак, подошёл и, не говоря, протянул к нему руку.

— Тутым (не трогай), — сказал я.

Он недовольный ушел на своё место.

Хозяйка принесла со двора вчерашнюю конскую ногу, положила её опять у огня и, когда она подогрелась, подала её старшему из гостей, сказав при этом «мэ» (на). Гость молча взял её, достал из ножен нож и, надрезав кусок сухожилия, забрал его в рот, отхватив ножом снизу вверх, причем я сделал невольное движение, — мне казалось, что вместе с куском он отхватить себе нос. Но ничуть не бывало. Он самоуверенно продолжал резать и глотать эту неудобоваримую снесь и, когда наелся, передал ногу своему компаньону, всё время сидевшему в ожидании угощения; потом обтер нож о шаровары, вложил его в ножны и, набожно перекрестясь на красный угол, где чернел закоптелый образ, сказал хозяйке «багыба», получив в ответ «на-здравье».

Старик достал из кармана маленький мешочек, вынул из него листочек табаку и, держа его между двумя пальцами, раскрошил. Настругав от валявшегося полена мельчайших стружек, он прибавил их к табаку, закурил и, сильно затянувшись, обтер мундштук трубки о свои собственные щёки и передал трубку старухе. Старуха с таким же наслаждением потянула и передала её грызшему ногу гостю, взамен чего подучила последнюю уже

наполовину обглоданной. Она ела и о чём-то говорила, жестикулируя. Очевидно, речь шла о нас, так как в разговоре я не раз слышал те самые слова, которыми её сразил Митрофан. Большебрюхий мальчишка не отходил от матери. Он смотрел ей прямо в рот, переводя поминутно глаза на кость в её руках, пока не получил её в своё владение. Тогда, напевая якутскую песню, он сел наземь, в руках его очутился громадный нож. Но тут уж я не стерпел. Кое-как знаками (казаки спали) я стал просить старуху отобрать от мальчишки нож. Старуха, очевидно, поняла, потому что, смеясь надо мной, знаками же стала меня успокаивать. И в самом деле. Он так ловко действовал ножом, что, в короткое время всё, что можно было вырезать и проглотить, было им уничтожено, и он, неохотно расставаясь с костью, отдал её матери, положившей её на полку, накрыв деревянной чашкой: кость ещё пригодится. В свободное время, она принесёт топор, разобьет, высосет мозг и вообще займется ею, как занимаются русские парни и девки подсолнухами или сибиряки кедровыми орехами, носящими название «сибирского разговора».

Мы с нетерпением ждали джагабула. День подходил к концу. На дворе сеял снег. Мелкие снежные хлопья сливались в одну сероватую мглу, сквозь которую трудно было что-нибудь разобрать. Хозяина всё не было.

Мы начинали ощущать признаки беспокойства. Сколько времени нам суждено сидеть здесь? куда уехал содержатель станции? правда ли, что за лошадьми? не шляется ли он по якутам ради своих делишек? Все эти вопросы оставались без ответа.

Казаки Митрофан и Константин пока очень добры, предупредительны и даже трогательно заботливы. Они дали нам кое-что из своей одежды. Как местные жители, они очень запасливы и дальновидны. За все их услуги вообще и в частности потому, что у них нет ничего, мы их кормим.

Сегодня мы решили пировать. Спутница моя сделала пирог из ржаного теста. Митрофан его испек. Старуха тоже приготовила ужин. Я никак не ожидал, что стружки, которые она сегодня, в свободное время, настругивала с свежей сосны, составят блюдо. Оказывается, что вместе с какой-то травой — озёрными водорослями, приправленными молоком, или тарой (запасы летнего скисшего молока), стружки составляют любимое кушанье якутов. В случаях удачи рыбного промысла, прибавляют к этому кушанью, почему-то называемому борщом, и мундушку. Некоторые якуты заготавливают подкорное вещество сосны, иные сердцевину, на зиму в прок. Разрезав сердцевину на лентообразные полосы, связывают их в пучки и сушат. Когда понадобится для варева, крошат и толкут пестом, пока не размягчат. Как бы ни был богат якут, — если даже у него в доме есть самовар и чугунно-эмалированная посуда, если даже он пьёт чай не из железной сковороды, или оловянного ковша, а из

чашки, — он все-таки ест всякую всячину: сосновую кору, брюшину, конское или коровье копыто и т.д. и всё это часто не от скудости, а потому что это его любимые блюда.

Окрест живущие якуты продолжают нас навещать. Один из них принес ягод фунтов 7-8 и 2 фунта масла. Попросил пол-кирпича чаю и 1 фунт табаку. Выменяли. Казаки передают, что продавца остальные якуты обругали: продешевил-де, с них можно и подороже взять. Тогда он стал просить: то сахару, то муки, то мыла, но получив на всё это односложный ответ «сох», т. е. «нету», чему я выучился от них же, рассердясь, сказал: «Я ошибся, тойон. Отдай назад. Я продам другим русским и они дадут мне за это много-много». — Хорошо, говорю, возьми. Не ожидая, что я так скоро соглашусь, говорить: «Ну, ладно. Для тебя, потому что богат и почётен — уступлю». — Не надо мне твоего добра, ступай с Богом — была мой ответ. Тогда, из требовательного и дерзкого он перешёл в просительный тон, и мы взяли обратно покупку, возвратив табак и чай, чему он был несказанно рад. Чем больше я вижу здешних якутов, тем более и более они меня отталкивают. Вечно торчат и, когда мы садимся за стол, не спускают с нас глаз. Пока, во всю дорогу, кроме огорчений, они нам ничего не доставили, но казаки с ними не церемонятся. Нам не раз уж приходилось просить их не позволять себе рукопашной расправы и это послужило уже однажды к небольшой размолвке между мною и Митрофаном.

На одном из промежуточных станков Митрофан о чём-то горячо поспорил с почтосодержателем — якутом. Сводились, очевидно, старые счёты. Митрофан облаял князя, сказав ему: «*Ыт! Простой ыт булбатах. Тюрть харахтах ыт тери*», т.е. «Собака! Да еще не простая собака. Ты шкура четырехглазой собаки», на что получил в ответ: «*Эн кимий? Эн тон баягал абагы дайды!*», что значит: «Ты кто? Ты сатана из-под дна ледовитого моря!». Это было, верно, страшное ругательство, потому что вслед за этими словами раздалась звонкая оплеуха которой казак угостил якута, и последний заревел, как ребенок.

— Акулина! — крикнул во двор оскорбленный туз, отворив, дверь юрты. — Седлай мне лошадь. Я еду к тойону исправнику жаловаться на этого варнака. — И действительно стал собираться в дорогу. Митрофан струсил и пошел на мировую. Князь и слышать не хотел, но потом произошло что-то, потому что якут вдруг смягчился. «*Дже, Бог с тобой! Агал суюсь харчи.*» (Ну Бог с тобой! Давай сто копеек.) — сказал он решительно. Митрофан достал где-то глубоко спрятанный мешочек, в котором бережно было завернуто в чистую ситцевую тряпочку несколько ассигнаций и подал одну из них якуту со словами:

— На, держи. Бедных якутов бьём даром, а богатых за деньги.

— За деньги бей. Деньги вещь хорошая.

— Вот видите, — говорил мне Митрофан потом с упрёком. — Этот наёд такой... сквейный наёд: вы думаете как российский. Вот на Койиме другой якут, а здесь якут дьянь. Русские их половили на бисер, все равно, как лисиц в ловушку, — заключить он.

— Как так? — спросил я, озадаченный.

— А так. Когда пришли Ермаковые люди, было их много что десятков пять. А черноносых этих, одним словом — орда. Вот русские состроили большую пасть¹ и насыпали в неё бисер разноцветный, а сами попрятались. Пришел один якут, посмотрел-посмотрел на бисер, да и не вытерпел, полез в пасть, а она его и прихлопнула. Потеряли его родовичи, пошли искать по следу: ходят по одному, по пяти, по десятку, а русские их имают, да имают. Так всех и переловили. С тех пор и стали казаки жить на якутовой земле, — заключил Митрофан легенду о завоевании русскими якутов, — легенду, которую мне пришлось не раз слышать впоследствии от колымчан.

Положение человека, попавшего в народ, речи которого он не понимает, довольно неловкое. Я стараюсь заучить самые необходимые слова и знаю их уже больше сотни, тем не менее на вопросы, обращаемые ко мне якутами, отвечаю по прежнему «*толкуй сох*», т.е. толку нет, не понимаю. Но когда мне приходится сказать несколько слов по ихнему, удивлению их нет границ. Находят правильно, иди лицемерно, что у меня отличнейший якутский акцент. «*Саха курдук*» (как якут), говорить они мне в похвалу.

От нечего делать вскинул ружьё и пошёл с Митрофаном пострелять. Набил с десяток куропаток. Приспосабливаясь к природе, здешняя куропатка-альбиноска зимою совершенно бела, только среднее перышко в хвосте черное. Немного меньше нашей куропатки, она имеет совершенно красные веки, а на животе и груди густой пух, защищающий её от холодов. Зоб её всегда полон мелких почек тальника (род вербы), а летом ягод голубики, от которой всё её тело насквозь пропитано синевой. Весною она начинает сереть, пока не примет цвета, по которому её очень трудно отличить от мхов, где она сидит, кладет яйца, по вкусу очень нежные и ничем не отличающиеся от куриных, и выводит детёнышей. Очень красивая птица с благородной осанкой, она очень близко подпускает человека и перелетает с места на место стаями до 30-40 штук. На лето же уединяется.

Удачная охота несколько успокоила меня, но на обратном пути уже в сумерках мы попали в снег выше колен. Верхний слой его образовал толстую ледяную кору, которая, не выдерживая тяжести и проваливаясь, причиняла боль ногам. Я устал, вспотел, набрал полные карманы и торбаса снегу и,

¹ Ловушку на лисиц.

проклиная охоту, альбиносок, леса, тундры, снега и за одно уж и якутов, невольно вспомнил при этом Некрасовский стих:

Весело бить вас, медведи почтенные,
Да добираться до вас-то невесело!..

За то какая ночь выдалась! Тишина и сумрак. Кой-где сквозь разорванные волнистые облака пробивались одинокие, яркие звезды. Плавно мчатся белые тучи, гулко отдаётся в лесу эхо наших быстрых шагов. Вот что-то крикнуло пронзительно, что-то шарахнулось. Может быть зверь, а может быть и громадный северный глухарь. Ночь трепещет и покрывается, наконец, густой тьмой, в которой едва различаешь блеск укатанной дороги.

Я опять забыл и усталость и брод, а когда, подойдя к юрте, увидел у коновязей привязанных лошадей, а внутри её новое лицо, очевидно хозяина, то досада на него за наше двухдневное сидение в ожидании кочта¹ ушла куда-то, и я уже мечтал о завтрашнем прощании с его старухой, юртой, голым стариком и всеми неудобствами, которые мы перенесли здесь.

Выдержав лошадей у коновязи и пустив их на подножный корм, джагабул успокаивал нас уверением, что поутру мы выедем. Но он лгал. Ему хотелось и самому полежать, понежиться и с нами подольше побыть, а потому на другое утро, уйдя за лошадьми, он возвратился в первом часу и без них, объяснив свое долгое отсутствие тем, что одна из лошадей пропала, ушла куда-то. По мнению же казаков, он и не ходил за ними, потому что след его вел не на поле, а в лес, за которым на озере есть жильё, где он и был в гостях. Когда мы покричали на него, он опять ушел и часа через два привел лошадей. Но выехать удалось лишь в 9 ч. вечера, так как укладка и навьючивание отнимают очень много времени. С каждой станцией число лошадей под нами увеличивают: дороги становятся всё труднее и непроходимее, а лошади всё хуже да хуже. Здесь под нами уже 10 лошадей: 7 вьючных и 3 в нартах, при трех проводниках. Я, спутница и более хрупкая кладь в нартах. До следующей станции 180 вёрст, причем «не маленьких, а больших», как говорит Митрофан. Кстати о нём. Он положительно завоёвывает наши симпатии. Особенно он ухаживает за моей спутницей. При выезде из Алдана он так уложил её в нарте и так укрыл, да еще увязал ремнями, чтоб она не вывалилась, что дал ей этим возможность спать всю ночь.

Перерезали Алдан. В этом месте он имеет 2½ версты в ширину. И такой-то ширины река носить название речки! А между тем, вряд ли есть ещё такая быстрая река в Сибири, где они вообще отличаются стремительностью. Вытекая с высоких гор, она по пути своём только кое-где замерзает и только в январе окончательно становится. Но и глубокой зимой вы можете увидеть над

¹ Средство передвижения.

нею белый клубящийся пар, обозначающий воду. Только подмерзнет она, как неудержимо стремящиеся вперед волны срывают громадные ледяные пластины, мчат их и нагромождают в уродливые ледяные горы.

Небо такое же, каким мы привыкли его видеть в России, только звезды мерцают ярче. Морозь изрядный. Снег и ночью, от лунного блеска, искрится, как на солнце. Якуты покачиваются в седлах, скрипя якутские песни. Пение якута — это, если можно так сказать, тоже одно из явлений северной природы, так трудно поддающееся описанию. Сначала вам кажется, что сани сегодня скрипят особенно резко, необычно визгливо. Верно на полозьях есть зацеплина или заструга, думаете вы. Этот скрип, принимая все большие и большие размеры, становится похожим на звук, какой издает палка, когда вы быстро проводите ею по густому частоколу и, наконец, переходить в своеобразные, то широкие, то замирающие переливы голоса, точно в горле певца перекачивается крупный горох... Пение, с непривычки, отвратительное и зудящее нервы. Всю ночь преследует оно вас и вместе с холодом и мыслью о далекой поварне, до которой от станции 80 вёрст, не дает уснуть. Узкоколейная дорога в густом, безмолвном лесу извивается, как змея. Повороты и зигзаги до того часты и неожиданны, что чёрные силуэты деревьев мелькают в ваших глазах, хотя едем далеко не быстро. Местами они низко наклонились над дорогой, и ямщики пригибаются к шее лошади, что бы не задеть головой о сучковатую и ветвистую лиственницу. Громадную, в обхват человека, сосну сменила мелкая порода, а величественный кедр жалко пополз по земле. Флора беднеет. Но лиственницы поражают ещё своей гущиной и размерами. Верхушки их сплелись и над дорогой образовали арки, в темноте которых нередко теряются небо и солнце. Путь настолько узок, что нарты, то-и-знай, цепляются и бьются об деревья, отскакивают от одних и ударяются об другие. На немногих встречающихся озерах стоят вежи, предохраняя от возможности заблудиться, или потерять вход в лесную просеку. Прибрежные леса наклонились в самое озеро. Летом, говорят бывалые люди, здесь чудно хорошо.

Мы в пути уже 12 часов. До поварни еще 20 вёрст. Я не знаю, почему наши расчеты никогда не удаются. Чего бы казалось проще? Приехать на поварню в 11 часов, дать коням отдых до 5-6 часов вечера и ехать дальше, ночуя в следующей поварне, в расстоянии от первой на 30 вёрст. На самом же деле оказывается, ночуем не во второй, а в ближайшей поварне. Хитрые якуты всячески ставят препятствия: уйдут за лошадьми в поле, шляются гденибудь, или просто лежать в снегу и смеются над глупостью русских. Придут ночью и скажут: «одна лошадь не дается, или потерялась, поймать не могли за наступившей темнотой». Поди спорь с ними. Невольно покоряешься,

предварительно позлившись и поворчав. Мы именно хотели избегнуть ночевки здесь.

Представьте, читатель, затерянную в лесу и на половину вросшую в землю, всю занесенную снегом шестиугольную лачужку. Это поварня. Администрация устроила её, как и другие поварни в пустых местах, для удобства проезжающих. Между тем один взгляд на неё обдает вас холодом и тоской. Неужели, вы думаете, здесь можно обогреться или спать? Камина нет. Вместо него, посредине поварни стоит очажок, на который кладут в клетку дрова. Дым выходит в дыру, прорубленную в потолке, и, распространяясь по поварне, ест вам глаза до того, что вы ничком падаете на шкуру, или подушку и, ощущая едкую горечь во рту, молитесь, чтоб перестали топить, что вы легче вынесете холод и всякие другие невзгоды. Вдобавок вас поджаривает огонь, потому что вы сидите на земле и вам некуда от него скрыться, а вместе с тем ветер дерзко врывается в незамазанные щели. Казаки приделали из кобыльей шкуры род трубы и так ухитрились сложить дрова, что дым стало тянуть вверх. В патриархальные времена у якутов был обычай: покидая поварню, оставлять в ней несколько глыб льду и колотые дрова, с целью дать вновь приедем возможность раньше обогреться огнем и чаем, а потом уж идти в лес и на речку заготавливать их для себя и следующих путешественников. Теперь, приезжая в поварню, вы прежде всего должны заботиться о дровах и льде, а пока разведут огонь — дрожать на морозе. Как бы то ни было, мы все-таки находились в защищавшей от ветра постройке. Постлали кошмы, шкуры и, не раздеваясь, принялись глотать горячий кипяток, густо сдобренный до черноты кирпичным чаем. Якут поставил две сковороды и одну деревянную миску вместо чашек. Один из них сказал: «чаем должны поить проезжающие».

Было уже поздно, когда мы опорожнились с помощью казаков и проводников два больших чайника и один оловянный котел, и, не снимая верхнего платья, потеплее укрывшись, заснули здоровым сном молодости.

III.

Когда дрожь от холода, забравшегося во все поры не только вашей одежды, но и вашего тела; когда, настрадавшись от толчков, от режущего ветра, голода и бессонницы, — вы увидите вдруг красное пламя, свет, заливший двор якутского жилья, услышите конское ржание и тревожный лай собак — вам становится весело, вам хочется смеяться и вам так милы, так приятны якуты, к которым вы чувствуете в эту минуту тёплое, дружелюбное движение души!..

Так было и с нами, когда мы подъехали к станции Тукулан или Быте-кель (Вшивое озеро), от которой до следующего станка 100 вёрст, но на пути к которому лежит страшный Верхоянский хребет.

Но когда перед нами оказалась не юрта, а русский сруб, когда, переступив порог, мы увидели пылавший в камине огонь, мы обрадовались, как дети. В доме было чисто, стол, орны были выскоблены до бела, глина на камине не торчала безобразными клочьями, а была гладко смазана. В добавок отсутствие, в этих лишённых травы местах, рогатого скота обуславливало чистый воздух в доме. Всё это не оставляло желать ничего лучшего. После треволнений и неудач предыдущих дней попасть в такой рай значило испытать радостное ощущение. Но чувство довольства омрачалось сознанием завтрашнего неминуемого отъезда. А так хотелось подольше отдохнуть, так жаль было покинуть тепло и уют. На общем совете мы решили хорошо поспать, умыться, переменить бельё и вообще подкрепиться на дальнейший путь, требовавший от нас ещё много сил, выносливости и терпения.

Джагабул высокий, благообразный якут. Его скулы выдаются не так резко, а глаза менее щелисты, чем у других якутов. Сразу чувствуешь, что перед тобой стоит человек энергичный и честный, человек, на которого можно положиться в завтрашнем трудном перевале через хребет.

У Алексея — так звали нашего гостеприимного хозяина — небольшая семья. Он сам-друг. Детей нет. Ещё молодая жена вечно улыбается доброй, располагающей улыбкой. К чаю она подала нам отличнейших сливок и мёрзлый ханях, который мы, откусывая по кусочку, запиваем горячим чаем. Тепло и нега приятно разливаются по всему телу. Глаза слепит дремота, а тело просится на покой. Не хочется шевелить мозгами. Сладкая лень клонит на подушку, и я засыпаю, прося разбудить меня к ужину, до которого я ещё успею вздремнуть, в то время как спутница, отказавшись от чаю, давно уже предаётся здоровому, спокойному сну. Но оригинальный ужин заставил меня разбудить её. На столе стояло большое блюдо, горой наполненное свежей олениной, издававшей запах, так приятно щекотавший и без того волчий аппетит. Тут впервые мы испробовали оленьё мясо, которое впоследствии в Колымске нам так приелось. Но на этот раз новизна его, голод, обстановка и общее довольство так действовали, что будь это кушанье даже кора сосновая с тарой, оно показалось бы нам вкуснее и слаще самых изысканных блюд. Но и в действительности хорошо приготовленная жирная оленина имеет несколько острый вкус дичины, нежна и приторно сладка, но в общем очень хороша. Мы сытно поужинали, искренно отблагодарив добрых хозяев. Это целая церемония, не проделать которой считается верхом неприличия и невежества. Помолившись на образ, надо подойти к хозяину, хозяйке и всем родственникам

и, пожимая руку, сказать спасибо, или, как якуты выговаривают, *багыба*, получив в ответ *на-здравье*.

Наконец, мы можем раздеться, спать на постели и в тепле (относительном, конечно, так как в юрте, если не поддерживать ночью огня, температура спустится градусов до 3, а то и ниже); хозяева набожно и долго молятся Богу, причём Алексей, часто употребляя в молитве слово *сарсын*, т.е. завтра, просить верно помощи на завтрашний тяжёлый день. Начиная с меня, он поочередно подходит ко всем нам и, снова пожимая руки, говорить: «прощай!». Движение улеглось. Огонь в камине слабеет, гаснет и, наконец, чуть отсвечивает слабым светом. Уже все спят. Только Алексей о чём-то перешёптывается за тоненькой перегородкой с своей женой, да я что-то не могу уснуть, ворочаясь с боку на бок, подсчитывая количество сделанных вёрст, и с удовольствием убеждаясь, что до Колымска на 400 вёрст меньше.

Рано поутру Алексей отправился в оленьё стойбище, где у него живут два тунгуса. Они же ямщики и пастухи. Мы с любопытством ждём оленей и, когда Константин крикнул со двора: «Олени пришли», оделись и идём смотреть. Прямо против дома высится густо покрытая лесом гора, а по откосам её бегут грациозные животные. Не верится, что эти, на вид дикие и вольные олени с громадными ветвистыми рогами, которые они гордо несут запрокинутыми несколько назад, будут пойманы, запряжены и покорно повезут нас. Оленей пригнали к дому. Они рассыпались по всей близ лежащей местности, не подпуская к себе человека. Легко одетый, держа в руках длинный *мамук*¹ с петлёй на конце, Алексей намотал его на руку и, прицелившись в крупную, пёструю самку, ловко и с силой бросает ей на рога, и олень пойман. Он немного поупорствовал, покружился, попробовал вырваться, но, как бы сознав тщетность борьбы, печально покорился: сильная рука держала его крепко. Казаки подошли к пойманному зверю и надели ему на голову обродь. Оленя не узнать: лёгкий и изящный до тех пор, он теперь кажется угнетённым и скорее похож на крупного телёнка, чем на дикого обитателя неприступных гор и тёмных лесов. Все видевшие оленей согласны в том, что глаза его выражают столько печали и упрёка, как ни одно другое животное не в состоянии выразить, особенно, когда он, выбившись из сил, лежит, а тунгус хлещет его тонким тальниковым прутом. Мало-помалу олени самцы приближаются к пойманной самке, и все мы принимаем участие в их ловле. Но вот все олени пойманы, каждая пара привязана к своей нарте. Алексей везёт мою спутницу и меня, казаки сами ямщичат, а два тунгуса везут кладь. Всего 11 нарт — 22 оленя в упряжи и 2 заводных (запасных).

¹ Ласо

Мы усаживаемся и поезд трогается. В нарте покойно. Можно протянуть ноги. Из вьючных ящиков нам сделали спинки, о которые очень удобно опереться. Благодаря морозному дню олени бегут хорошо, ехать весело, но недолго, потому что, как только мы стали подъезжать к речке Тукулан, так начались наши злоключения. Разделяясь почти у самого устья на 2 узких рукава, она течёт извилинами в крутых берегах и в среднем течении, промеж двух дуг, образует широкий материк, так что вы имеете пред собой не одну, а как бы две совершенно отдельные реки. В половодье эта речка вздувается и, выливаясь из берегов, затопляет всю окрестность, ровняясь краями с высокими уступами срединных террас Верхоянского хребта. Вот тут-то летом задерживаются купцы и казаки с почтой по месяцу и более. Как материк, так и оба берега, в особенности северный, на далёкое пространство сплошь усеяны камнями от самых мелких до громадных кругляков. Падая со скалистых гор в быструю реку, камни шлифуются и округляются и, наслоясь, образуют глубокий каменистый грунт, езда по которому не только мучительная пытка, но и сопряжена с опасностью для жизни. Узкая и низкая нарта (всего $\frac{1}{4}$ аршина высоты), часто накрываясь, переворачивается и выбрасывает пассажира. Падая, рискуешь разбить себе череп, или повредить кости. Но и без того, одно воспоминание об езде по гольцам стущёвывает все страдания, сопряжённые с непосильно тяжёлым и долгим переездом из Якутска в Колымск. На протяжении 90 вёрст по обе стороны хребта, вы переносите мучения от толчков, болезненно отзывающихся в ваших внутренностях. Нет места в вашем теле неразбитого. Но не меньше эта езда мучительна и для оленей. Высунувши языки, они напрягаюсь все свои силы, скользят, спотыкаются о голые камни, падают и, подгоняемые энергичными возгласами и пинками вожаков, снова надрываются, снова через силу тащат грузную нарту. Но ещё несколько сверхчеловеческих усилий и мы в поварне *Анна сох*, т.е. без дверей, у самого подножья хребта, грозно поднимающего к небу свой остроконечный шпиг на высоту 6 тысяч футов. Много десятков лет тому назад учёные путешественники, якуты-подрядчики, купцы видели эту поварню в таком же виде, в каком застали её и мы. Когда, спустя много лет, я ехал обратно в Россию, поварня стояла всё так же без дверей и такой она будет стоять до тех пор, пока какой-нибудь друг человечества не спалит её нечаянно, или умышленно. Часто якуты очень метко характеризуюсь какой-нибудь предмет одним словом, но на этот раз выразились неудачно, так как эту поварню вернее было бы назвать: «без окон и без трубы». Единственная роскошь в ней, никуда, впрочем, негодная при общем ансамбле, составлявшая странный контраст со всем, что мы нашли в этой ужаснейшей из всех поварней, — смешно сказать — был стол!.. Мы заранее были предупреждены, что эта

поварня «не джай Бог», как сказал Митрофан, и действительно она оказалась ниже или выше всякого описания. Она настолько вросла в землю, что вход в неё возможен лишь в согнутом положении, почти ползком. Опять дым ест и жжёт глаза, опять ветер свободно гуляет по ней и знобить тело, между тем как пылающие дрова поджаривают вас со стороны, обращённой к огню.

Но привычка делает чудеса, и мы, не отступая от порядка, пьём чай, стелем кошмы, завязываем головы платками, накрываемся всем, что только может служить покрывкой, и засыпаем. Но рано поутру я проснулся от холода, от которого у меня стучали зубы. Я усиленно тёр нос, руки, из боязни ознобить их, и, с трудом оторвав свою бороду, примёрзшую к одному из одеял, быстро принимаюсь за дрова, стараясь раздуть огонь силою своих собственных лёгких.

Часов в 8 мы покинули поварню, подобной которой нет на всём пути до Колымска и к которой приурочен следующий правдивый анекдот. В 1887 году чиновник П. был командирован из Якутска в Чукотскую землю для розысков пропавшего парохода «Алеут», отправленного русским правительством на поиски американской экспедиции капитана де-Лонга. Приехав на поварню «Анна-сох» и, рассчитывая в ней отдохнуть, он был сражён, что называется, одним её видом. Сесть негде, дверей, окон нет, не только камина, но нет даже шестка, огонь разводиться на самой земле, и в добавок ко всему не к месту торчащий иронический стол. Между тем ехать дальше невозможно, потому что переход через вершину гор ночью немыслим. Чиновник решил ночевать в своей кибитке. Только что он вылез из узкой щели поварни, как перед ним предстал якут, один из проводников.

— Ты кто? — грозно крикнул П. на ямщика.

— *Сердит*, — был ответ якута, что по-якутски значит — ямщик.

— А! так ты ещё, такой-сякой, сердит?! — вспыхнул П.

И с этими словами избил ни в чём неповинного ямщика.

IV.

Крутой подъём начинается от самой поварни. Когда глядишь на эту скалистую высь, недоумеваешь: где, в каком именно месте вы можете подняться, когда перед вами почти отвесная скала, по которой чернеет дорожный след. Будем подниматься оленьей дорогой, так как конская, хотя сравнительно и полого, но за то представляет узкую тропу, по обеим сторонам которой зияют две бездонные пропасти. Верховая опытная лошадь ступает по этой тропинке осторожно и боязливо. Мы выходим из нарты. Лишь спутницу мою Алексей заставляет оставаться на своём месте. Я и казаки вырезаем

себе «посохи», сбрасываем с себя кухлянки (верхняя одежда с капюшоном, шерстью вверх) и трогаемся в путь. Чувствуется уже усталость. Мне жарко, я задыхаюсь и ощущаю потребность в отдыхе. Садимся на снег и закуриваем папиросы. Постепенно снимая одежду до фланелевой блузы и бросая её сзади идущим, чуть видимым внизу ямщикам, медленно поднимаемся, в скользких местах ползя на руках. Два часа медленной ходьбы потребовалось, чтоб добраться до вершины. Я оглянулся вниз: страшная головокружительная крутизна. Содержание горы какой-то чёрный камень, местами очень похожий на каменный уголь. Лежит тонкослойными пластами с заметными следами древесной структуры. В другом месте каменные глыбы покрыты лишаями, по виду очень близки к железу и окрашены в окись его. Над самой головой густые облака. Кругом бесконечные леса. Сколько богатств хранят в своих неизведанных глубинах эти горы, эти леса! О, дивные горы северной природы! Вы полны тайн, но своими величавыми угрюмыми громадами вы подавляете бедного человека, навевая на него суеверный страх. И вот почему якут, поставив на вершине утёса христианский крест — символ света, в то же время кладёт к подножию его знаки покорности, принося жертвы «духу тьмы, духу ветров и духу всего таинственного — Дайды Тойону (местному богу)». Тут мы нашли конский волос, птичье крыло, кисет с табаком, кусочек жести, фланели, медные деньги. «Смилостивись, Дайды Тойон! Утишь ветры, не сыпь снегом, не лей дождём, сохрани нам скот и дай нам благополучно перейти на ту сторону камня. Абра! (Спаси!)».

Олени совсем изнемогли. Вожаки в одних ситцевых рубахах выбились из сил, подгоняя их особым уканьем. «У-у... У-у...» то и дело слышалось снизу. Рослая фигура Алексея дышит отвагой и силой. Спутницу он, можно сказать, вынес на гору и бережно спустил на первой площадке, откуда спуск уже не так страшен. Дав передохнуть оленям, их выпрягли из нарт, который связали вместе по 5-6 нарт в ряд, образовав, таким образом, род плота. Полозья для тормоза перевязали в нескольких местах ремнями, оленей — сзади нарт, дабы, упираясь, они задерживали быстроту спуска. По сторонам связанных нарт стали ямщики и казаки и, оттолкнувшись ногами, полетели вниз с такой быстротой, что у меня, глядя на неё, замер дух. Спуск с хребта требует большего умения и осмотрительности. Чуть зазеваешься, или неверно направишь сани, как они примусь направление в сторону и понесут к окружающим острым утёсам, всегда готовым разбить неопытного, или неумелого. Не вынося быстроты спуска с гор, я, по совету Алексея, решил спуститься особенным образом. Взяв в руки две крепкие, величиною не более $\frac{1}{4}$ аршина, палочки, я подобрал одежду под себя и, сидя на снегу, оттолкнулся ими — через 15 минут я был уже внизу.

Итак мы за хребтом. Всё обошлось благополучно, если не считать одного задавленного оленя, который задохся, закрутив голову вокруг собственного ремня.

Счастлив тот, кто избавлен от необходимости переходить эти горы в летнюю пору. Реки разливаются: по ним перебираются в брод. Болота, трясины, грязь, дожди и потоки, громадные трещины там, где их не было в прошлом году, образуемые силой течения вод — всё это обычные спутники летнего перевала, уничтожающие всякий приблизительный расчет времени, нужного для него: может быть неделя, а может быть и 30-40 дней.

Нам предстоит ещё сделать до станции 20 вёрст, на расстоянии которых идут сплошные тарыны, т.е. наледи. По предположению Алексея, они теперь безводны, так как разливаются преимущественно в декабре-январе — в пору самых лютых морозов. Явление наледи, как исключительная принадлежность северной природы, зависит от того, что сильные морозы образуются во льду трещины, из под которых снизу просачивается вода, заливая озеро или реку. Беспреданное течение снизу не успевает подмерзнуть. Только затянулась трещина, как напор воды снизу даёт всё новые и новые, и чем сильнее морозы, тем наледи чаще и глубже. Это один вид тарынов, менее трудный и более безопасный для переездов. В этом случае они редко глубоки: вода не хватает через края нарты. Но гладкая скользящая поверхность их измучивает оленей или лошадей, о ковке которых здесь не имеют и представления. В других же случаях тарыны ужасны, и путешественнику не следует пускаться ехать ночью, — раз известно об их развитии. Чем сильнее холод, тем больше шансов, что из под скал, дающих громадные трещины, с страшной силой вытекают ручьи всегда высокой температуры. Они делают себе русло и нередко изливаются в озеро или реку, или же, встретив котловину, образуют новое озеро. Объезда нет и тарын надо неминуемо переехать. В данном случае он довольно глубок. Нарта черпнула воды, одежда и постель заморозили и счастье ваше, если поварня или дом близки, иначе не миновать вам отморозить себе члены или жестоко заболеть. Ещё издали вас поражает в ночной тиши шум, подобный водопаду. Странно, почти зловеще впечатление быстро текущего ручья в шестидесятиградусный мороз, когда вся окружающая природа спит непробудным морозным сном. И горе вам, если поверх воды напал снег! Полозья забрали этой снегообразной каши, которая моментально замёрзла на них. Станьте среди скал, опорожните нарты, отбейте топорами и соскребите ножами лёд, и только тогда трогайтесь дальше, с тем, чтобы через несколько вёрст снова пережить ту же историю, так как, раз начавшись, наледи кончаются лишь с переменой характера местности. Только немыслимая для нас, маловероятная выносливость аборигенов даёт им силу ходить по этим

местам безнаказанно. Обувь потеряла свой первоначальный вид: она представляет теперь сплошной намёрзший снег, идти в ней невозможно. Якут или тунгус, тут же на морозе переодевается, или же вёрст 10 бежит, пока не согреется.

В пяти верстах от станции я отвязал свою нарту от нарты проводника, завожив правого оленя, и мы с Митрофаном уехали вперёд приготавливать чай. И тут-то я впервые увидел, до какой быстроты может доходить бег оленя. Это расстояние мы сделали, по часам, в 15 минут. С этого времени я перестал быть на буксире у проводника или у одного из казаков и правил своею нартою сам. Приехав на станцию, мы с трудом верили, что сидим в тепле, что мўки сегодняшнего дня кончены. В ответ на нашу благодарность, Алексей, без которого нам бы не избежать в дороге несчастья или неудачи, сказал: «Лишь бы мне стакан водки». Налив ему чайный стакан и поднося, я спросил: устал? Он простодушно ответил: «Теперь готов хоть ещё два раза перевалить хребет», и затем прибавил себе в похвалу: «Хорошему человеку везде хорошо». Наши казаки отзываются о нём, как о человеке честном и бесстрашном. За ужином мы усадили его за стол. «Не всякого тоже ямщика сажают тойоны с собой: надо заслужить», — снова наивно похвалил он себя. Впрочем, он и стоил похвалы.

В ту ночь я спал тревожно: одолевали сны, душил кошмар. То, поднимаясь на гору, я скользил и катился вниз, то Дайды-Тойон, свидетельствуя жертвы, принесённые сегодня ко кресту, и не найдя моей, с силой схватывал меня в свои каменные руки и, раскачав, бросал в страшную снеговую пучину, где я бился, барахтался, не мог освободиться, кричал и... просыпался.

Верхоянский хребет служит границей растительности между южной и северной половиной Якутской области. Все породы деревьев исчезли. Одна неприхотливая лиственница, да тонкая печальная берёзка, годная лишь на топорище — вот и вся растительность по ту сторону хребта. Бесплодная каменистая почва, на расстоянии нескольких сот вёрст (трав не произрастает), исключает возможность скотоводства, чем, главным образом, объясняется отсутствие в этой полосе якутов, по преимуществу скотоводов. Лишь те из них, которые позарились на мнимые барыши от содержания станций, вплотную разоряющих их, бросают лучшие места и, передавая уход и присмотр за коровами и лошадьми другим якутам, селятся в камнях. Бродячий тунгус охотится на оленя или чубука¹, а беднейшие из них идут в наймы к якуту в качестве пастухов, или ямщиков, так как якут, хотя и умеет обращаться с оленем, но далеко не так проворен и способен к этому, как тунгус, для которого угрюмая тундра — родная колыбель, а олень — животное, знакомое ему с детства!

¹ Чубук — каменный, или горный баран.

Вершина Верхоянских гор составляет также естественную границу Якутского и Верхоянского округов. Да и сами якуты разнятся несколько по обличию, произношению и одежде. Тогда как в первом из округов они говорят чисто, чтоб не сказать красиво, якуты Верхоянского округа неприятно картавят, часто заикаются, гнусавят, шепелявят, не выговаривают буквы с, подставляя на её место французское h; некоторые же говорят так, что вам кажется, будто говорящий набрал в рот горячих камней и силится их выплюнуть. В Якутском округе женщины носят довольно своеобразные, высокие, остроконечные, точно копна сена, шапки. Этот оригинальный убор на вате, покрытый сукном или плисом и отороченный мехом, у богатых очень дорогим, имеет на верхушке кисточки, по количеству и цвету обозначающие тот или другой наслег, т.е. род. Здесь мы уж не встречаем подобных нарядов. В противность Якутску, якут здешнего округа сплошь одет в заячий мех. Шапки, рукавица, чулки, куртка, которую они называют *пухайкой* (фуфайкой), — весь он, так сказать, заячий. Его пища, одежда, промысел — по преимуществу заяц, или по местной терминологии, ушкан, которого якут добывает за зиму несколько тысяч и продаёт странствующим купцам. Ленивый, беспечный и грязный, наивный, как дитя, и в то же время, как дикарь, вероломный и хитрый, нищий телом и духом, обиравый своими тойонами-кулаками, эксплуатируемый купцами, верхоянский якут мало чем отличается от своих собратьев. Он умеет голодать, как дикарь умеет переносить лишения, ест полевых мышей и при случае готовь украсть, пропить, не только настоящий, но и промысел будущего года, или проиграть его в карты — в штосс, стуколку и другие азартные игры. Его тело не знает бани или воды, а волосы — гребня. Его едят многочисленные насекомые. Стоить вам присмотреться к нему, как вы увидите их ползающими и спокойно сидящими на его рубахе и буквально кишачими в его волосах. Как и в Якутском округе, здесь не ждите бескорыстного гостеприимства, а смотрите в оба, чтоб у вас не украли съестных припасов и не оставили на будущий путь без хлеба или мяса. Мы теперь только обнаружили, что на Алдане нас порядком обокрали те самые гости, которые так назойливо посещали нас, курили наш табак, пили чай и получали подачки. Прилагая эту мерку суждения к якутам двух округов: Якутского и Верхоянского, я должен оговориться, что мне приходилось встречать среди них и людей, чистых душой, поражавших добротой и трогательным участием к нам — чуждым для них пришельцам.

Но будем двигаться дальше. Дней в десять намереваемся сделать оставшееся до Верхоянска расстояние, хотя идём очень медленно. Олени совсем плохо везут. Малосильные вообще, требующие каждый 10 вёрст остановки и кормёжки, они в весеннюю пору для езды становятся негодными, начинают

страдать от тепла: дышат тяжело, рога отпадают, шерсть местами вылезает, они отстают, падают, а раз олень от усталости упал — отвяжи его и брось, впрягай запасного.

Предпочитаем ехать ночами, несмотря на холода, которые по ночам значительно чувствительнее. Леса редуют. Весеннее половодье и быстрое течение рек, на пространстве в несколько сот вёрст, с корнем вырывают деревья, смывают и нагромождают их на крутых берегах. Лесные наносы попадают очень часто, образуя целые горы плавнику. Смывая берега, воды расширяют русло рек, схватывают эти наносы, снова несут их вниз по течению, а сверху приплавливают всё новые, и новые — Бог весть из каких стран, из под каких широт.

Наш путь лежит по самому склону Верхоянской цепи гор, которые с приближением к Верхоянску постепенно, почти незаметно понижаются, пока не переходят в необозримую равнину. Снова редкие озёра, кой-где *калтуса* (кочковатое поле) и опять узкая аллея в нетронутом, заповедном лесу с сросшимися верхушками.

Кончились камни и мы опять на станции, — в доме, где люди и скот составляют одну семью: живут, едят, спать вместе в одном помещении. Неудивительно, что сам джагабул, его жена, приживалка-тунгуска — все страдают болезнью глаз, очень распространённой среди якутов. Сам лежит на ороне и, макая гусиное перо в какое-то грязное, маслянистое вещество, мажет им глаза, которые уже не раскрываются. Это лекарство дал ему проезжий купец и велел мазать почаще, а также промывать мылом, стараясь, чтоб оно непременно попадало во внутрь глаза. Но мыла у него нет... Да! Заболей в этих местах — и сам себе смело делай гроб и ложись в него заживо...

День-ото-дня всё теплее и теплее. В полдень не более -15° по R^1 . За то утренники дают себя ещё чувствовать. Днём можно даже сидеть в нарте с открытым лицом, что делает езду менее неприятной, потому что шарф, которым укутываешь лицо, от дыхания мокнет, затем, примерзая к бороде и усам, вызывает неприятное ощущение. Всё окружающее отлично видно. Места всё живописнее и живописнее. Когда, как теперь, всё сковано льдом, когда всё одето в иней и снег, только чутьём угадываешь, как хороши места на этом пути. Во всём чувствуется красота великая, сила необъятная и непреоборимая. Такого неба нежно-лазоревого, таких ярких звёзд и такого блеска луны нигде больше не встретить. Солнце медленно прячется за далёкую синеву гор и ярко-красной полосой осенило верхушки стройных деревьев. Косые лучи его приятно ласкаюсь. Там, далеко позади, уже весна, пробивается зелень, скоро прилетят из-за моря птицы, жаворонок запоёт свою переливчатую песню... А

¹ -19° С.

здесь всё ещё холод, всё лёд и только чёрный воронь, далеко больше нашего, оглашает безлюдную тайгу своеобразным карканьем, напоминающим звон стакана, об который ударяют деревянной палочкой.

Всего-то полтора ста вёрст до Верхоянска и тех не можем никак одолеть. Юрта, где мы застряли, была нова и чиста, но в ней всю зиму никто не жил, так как богатый князь¹, он же и почтосодержатель, укочевал куда-то со своими коровами. От холода пришлось перебраться в юрту другого якута, князева работника. Константин, при виде его и жены, сказал: «Вот. Эти самые, которые *еврасками* (овражками) питаются: я их тотчас узнал», и взглянув на хилого, тщедушного мальчугана, у которого торчали ничем не прикрытые рёбра, заключил: «Чисто горностай... Это, которые еврасек едят, беднее их уж нет». Мы дали этим несчастным мяса, муки и чаю. «Увидев русских, сердце дрогнуло: обрадовались» — не знали они, как выразить свою радость. Они знают, что русские чувствительнее своих же якутов. На наших глазах ямщики варили себе мясо и не дали ничего хозяевам, которые собирали из-под стола крохи и кости и с жадностью и наслаждением глотали последние.

Оленей на станке нет. Впереди проехавший священник занял 17 нарт. Неужели ждать возврата оленей? Вместе с отдыхом, необходимым для них, это по малой мере 10 дней. Долго казаки советовались с якутом. Кончили на том, что наняли у проезжавшего якута свободную лошадь, и Константин отправился, по его выражению, «отымать у попа оленев». Справедливость такого образа действий казаки объясняли тем, что священник выехал из Якутска ранее нас на 3 недели, что в дороге на каждой станции он по несколько дней отдыхал и тем задерживал всюду лошадей и оленей: «сам сидит и другим не позволяет впереди себя ехать». На этот раз казаки имели за себя ещё и тот аргумент, что мы, дескать, едем по казённой надобности. Константин нагнал батышку в десяти верстах в жильё. Он охотно согласился уступить нам оленей, тем более, что у него захворала девочка и он предпочитал «лежать».

Тут-же в юрте живёт тунгуска, тоже работница князя. Чтобы угодить русским, она спела нам песню, ничем не отличающуюся от якутской, только ещё монотоннее, а затем, получив табаку, расходилась и предложила нам показать свой танец, если можно назвать этим именем те странные телодвижения, которые она проделывала в течение нескольких минут. Тунгунска медленно кружилась, переминаясь на одном месте и припевая: «Ихувей, ихорей». Я спросил о значении этих слов. Но Митрофан, передав ей мой вопрос, ответил: «Так, ничего не значит. Игривые слова».

¹ Князь, в далёкие времена — начальник рода, теперь лицо выборное и утверждённое властями; то же, что волостной старшина.

Выехали отсюда к вечеру. В тёмном лесу дорога кажется бесконечной. Кажется, что лес растёт, удлиняется, густеет, что едем без дороги, что заблудились и никогда не выберемся из чёрной таинственной тьмы на белый свет.

Но ещё две ночи и на двадцать второй день мы в Верхоянске, самом холодном населённом пункте земного шара, отстоящем от Якутска в расстоянии 900 вёрст.

V.

Существующий не более столетия и основанный купцом Гороховым, потомки которого и теперь ведут торговлю в крае, город Верхоянск лежит при верховьях реки Яны, имеющей началом Верхоянские горы и текущей на протяжении более 2000 вёрст, находясь под широтой на несколько градусов выше полярного круга. Температура его зависит от господствующих резких ветров, приносящих с запада холод. Не даром запад у якутов, главным образом, по этой причине, характеризуется, как недобрый. Злой, чёрный дух приходит, по мнению их, с этой стороны света. Занимая площадь в 947,085 кв. вёрст с населением в 13 тысяч душ обоего пола, Верхоянск и его округ представляют высокий интерес для всякого рода научных исследований. Гигантские формы прародителя слона — мамонта, остатки несуществующего теперь вида носорога, лошади и коровы и многие другие палеонтологические находки с давних времён влекли сюда представителей учёного мира. Массовые находки мамонтовых клыков (так мне лично известно о находке 16 клыков в одном месте), наводят на мысль о какой-либо геологической или вулканической катастрофе и ставят вопрос о климатическом прошлом Сибири, так как современный представитель потомков мамонта, слон, обитает теперь исключительно в жарких странах. Вместе с тем весь округ далеко на восток и запад кишит, так сказать, минеральными богатствами: сернистое серебро, известь, графит, железо, каменный уголь и несомненное присутствие золота. Целые горы слюды, хрустала привлекают только внимание тунгуса, пленяя его своей красотой и блеском. «Глядишь на гору и видишь себя, как в зеркале», выражает он свой восторг. Не далее, как лет 10 тому назад, в округе обнаружены богатейшие серебряно-свинцовые рудники, по исследованию Иркутской химической лаборатории, с 22% содержанием серебра. К сожалению, эти богатства бесполезно лежат в девственной почве, не принося той пользы, какую-бы могли они принести, будь климатические и другие условия края менее суровы. Бездорожье, отсутствие людей, невозможность

прокормить рабочих местными средствами — всё это не легко преоборимые препятствия к эксплуатации несметных богатств края.

Наблюдения местной метеорологической станции, вследствие частой порчи инструментов и отсутствия возможности приводить их в порядок на месте, не строго регулярны, а потому и неудовлетворительны. Этим, если не считать редких научных экспедиций (как доктора Бунге в середине 80-х годов), ограничиваются все научные исследования такого богатого и любопытного края, центром которого служит несколько жалких, разбросанных без плана и системы, русских хижин и инородческих юрт, с плоскими крышами, вместо кровель, и ледяными глыбами, вместо окон, носящих громкое название города, на главной улице которого лежат два озера-болота с неприличными именами, в летнее время издающими смрад и зловоние, происходящими, по догадкам, от подпочвенных сернистых ключей. Десяток-другой казаков с их семьями, несколько мещан, священник, исправник, доктор, акушерка, да немного ссыльных — вот и всё население города. Скотоводством (до 12 тыс. голов рогатого скота и лошадей), оленеводством и звериными промыслами занимаются разбросанные по округу тунгусы и якуты.

Не раз делались в Верхоянске попытки хлебопечения. Особенно энергично взялся за это дело в конце 80-х годов г. Войнаральский, впоследствии заведывавший образцовой сельскохозяйственной фермой, устроенной в Якутске по инициативе генерала Светлицкого. Опытный земледелец, он приложил много усилий к культивированию ячменя и овса в небольших размерах и кой-какие результаты получились¹. Благоприятные атмосферические влияния, хорошие орудия, при больших усилиях и внимательном уходе («точно ананас воспитывал ячмень!») можно взрастить хлеб. Но это мыслимо в том лишь случае, когда дело идёт об одной грядке огородной овощи, а не полевой культуре. Мёрзлая почва, холод и снег не дают зерну роста и должного питания и тем лишают его возможности прозябать. Что касается огородничества, то в иной год оно и удаётся. Выдастся лето более тёплое и менее короткое, и у верхоянцев (немногих, конечно, тех, что решаются на труд и ухаживанье) есть не много мелкого картофеля, тёмно-зелёных листьев капусты, да, пожалуй, редька, репа.

Надо отдать справедливость администрации края: она не жалеет усилий на произведение опытов хлебопечения в северных округах области, но из этого пока ничего не выходит, да и вряд-ли когда-либо выйдёт.

¹ Г-н Войнаральский получил сбор с урожая для ячменя в сам 10, а овса сам 3. При возможности здесь земледелия, урожай которого в южных округах области доходит до сам 50, характер населения изменялся бы в зависимости от благосостояния. Теперь в Верхоянске пуд ржаной муки в казённой продаже стоит 7 - 8 руб., смотря по цене провоза из Якутска в Верхоянск. В статье г. Серошевского («Русское Богатство» 1894 г. № 12) «Якутский хлеб» интересующиеся могут найти касающиеся этого предмета сведения.

К сожалению, как при проезде вперёд, так и в обратный путь, моё пребывание в Верхоянске было очень кратковременно и потому сведения мои о нём скудны. Впрочем, местная торговля, характер населения, его занятия, образ жизни, его обычаи, верования и времяпрепровождение, — всё это до такой степени похоже на монотонную жизнь Колымска, что, характеризуя последний, я вместе с тем дам и точное изображение Верхоянского жителя.

Снова наполнивши опорожнённые сумы провизией, после трёхдневного отдыха, мы опять в дороге. За нами по следам бежит якут, дотла проигравшийся в карты. Привёз в город мясо и масло на продажу и, не продавши ещё, пустил их в оборот... хотел было сказать на зелёном поле, но это было бы неверно: якуты играют на разостланной на земле шкуре. Потеряв не только деньги, но и коня, на котором приехал, он совершил таким образом за раз несколько выгодных сделок: не уплатил долга купцу, не купил для дома необходимых вещей и побежал домой за 150 вёрст пешком. В городе он пытался взять у купца ещё в долг, но последний не дал, да ещё иронизировал над ним: — Подрядись на заячье молоко. Мне необходимо иметь один пуд его.

— Сёп, учугей (Ладно, хорошо)! Через месяц доставлю, — был ответ на всё готового подрядчика. Теперь он старается, чтоб мы не уехали от него вперёд, так как, отставши от нас, он не напьётся в поварне чаю и ляжет спать, мало того, что голодным, да ещё и один, а этого якут не любить и боится.

— Вот теперь жена тебя заругает, — говорю ему.

— Жена? — презрительно сказал он. — Я своё проиграл, а не женино. Приду домой и опять в город. Потому что конь в залоге. Наберу мяса и молока и отыграюсь. Хорен (жаль) лошадь! Хорошая, бедняжка, была лошадь.

Мне передавали люди, заслуживавшие доверия, и впоследствии я много слышал подтверждений тому, что, проигравшись, верхоянский якут снимает с себя всё, оставаясь в одной рубашке и исподних. Когда к счастливому противнику перешли и лошадь, и седло, и узда, он ставит на карту жену на время, на неделю, месяц, или несколько месяцев, и жёны в данном случае, повинуются, платя собою проигрыш мужа. О подобных фактах я слышал не только от лиц сторонних, но и от самих якутов.

В числе редких встреч по дороге, мы имели, между прочим, одну в 170 верстах по ту сторону Верхоянска. В то время, как чиновник П., о котором я упоминал в одной из предыдущих глав, командированный в Чукотскую землю на розыски потерявшегося парохода «Алеут», возвратился из Колымска обратно, получив здесь известие об «Алеуте», зазимовавшем в Японских водах, — казачий офицер К., проехавший раньше П., через Нижне-Колымск пробрался в Анадырск, далее в Гижигу, на обратном пути побывал в Чукотских владениях, перерезал реку Индигирку и теперь возвращался в Якутск, лишь в Средне-

Колымске узнав, что трудился в напрасных поисках «Алеута», давно уже разысканного, и совершил круг в 10 тысяч вёрст в 4 месяца! Он принёс нам недобрые вести. На следующей станции нет ни лошадей, ни оленей и возвратятся они не скоро. Считая с отдыхом, потребным для них, наше сидение на станке может продолжиться недели две. Эта весть нас крайне огорчила. Может наступить оттепель, и нам не миновать верховой езды.

Не успели мы въехать в лесную просеку, как из-за старой, ветвистой лиственницы увидели глубокие следы волчьих когтей. Ямщики остановились. Внимательно рассматривая их, один произнёс: «волк старый, опытный». Долго они советовались жестикулируя и горячась; наконец, старший проводник, с длинными и белыми, как лунь волосами, сказал: «Ночевать в поварне не будем; переночуем на снегу. Боимся. Оленей поедят — не на чём будет ехать дальше — до станка не доедем». Приходилось сдаваться на его убеждения и, миновав поварню, мы сделали привал в десяти верстах от неё в глухом лесу.

Отрыв землю от снега лопатами, которые вместе с топорами и свёрлами проводники всегда запасают в дорогу, они вырубили несколько деревьев сухостоя, и ночная тьма озарилась ярким светом. Затрещали сухие, как порох, смолистые ветви, заговорил на тысячи ладов искромётный огонь, и весь лес, вся окрестность точно ожили, точно восстали от долгой зимней спячки. Вожак не ложился всю ночь. Они сидели вокруг костра и беседовали. Якут-картёжник подробно, шаг за шагом, рассказывал о своём поражении, а остальные якуты внимательно его слушали. Убаюканные морозом и усталостью, мы уснули, кто на нартах, кто на разостланных на снегу шкурах. Ночью я проснулся от страшного шума. Старик-якут с пешим якутом ссорились. Они стояли несколько в стороне от костра. На какой-то постилке валялись старые грязные карты, который и были причиной не только ссоры, но и, как я узнал, драки. На молодом якуте вся рубаха была разорвана. На что мог играть этот разорившийся человек, мне не говорили, но думаю, что на старое заячье пальтишко, так как мы оставили якута всё в той же разодранной рубахе; он не отходил от костра. Что же касается старика, то его ставки были солидны. Он рисковал проиграть зарытые в лесу кости чуть ли не целого коня! Когда я звал его с собой в Колымск, эти кости служили ему препятствием. И жалованье хорошее, и тойон добрый, да вот имущество должно зря пропасть. «Я их продать могу, а не есть-то буду месяца два».

По единодушному мнению казаков и обывателей Якутска, якуты Колымского округа по своим качествам стоят выше всех своих собратьев остальных округов области.

Пророчество офицера сбылось. На станции ни одного оленя. Большая часть их пошла под медикаменты, направляемые в Колымскую казённую аптеку, а

остальные выданы офицеру. Джагабул приняв нас, уехал куда-то в сторону за лошадьми. Вместе с этим мы имели на этой станции ещё одну крупную неприятность. Осмотрев нашу кладь, мы обнаружили отсутствие съестных припасов. Не говоря о различных мелочах, которые мы берегли для подарков якутам за услуги, исчез спирт, которым мы так дорожили, и не стало мяса, хлеба, масла. Таким образом, значительную часть дальнейшего пути мы вынуждены были жить впроголодь, питаясь пресными ржаными лепёшками, которые пекли у огня. К счастью, мы встретили на пути, едущего из Колымска в Якутск, священника о. Зиновия Винокурова с семьёй, который поделил с нами свою провизию и тем спас нас от голода. Пять дней мы сидели на станции, в ожидании кочта (средства передвижения). В течение этого времени казаки ссорились между собою, ссорились с якуткой-хозяйкой, требуя, чтоб их кормили, так как у них-де ничего нет, а станция нас держит, и вообще было скверно на душе, тем более, что предстоял один из самых тяжёлых переездов в горах, в пустынной местности, где на расстоянии, более чем в 300 вёрст, кроме камней, нет ничего: ни жителей, ни станции, ни возможности что-либо купить.

Мы снова в скалах. Со станции дали нам одного только ямщика, мальчишку-тунгуса. Проводником служить Митрофан, отлично знакомый с здешними местами. Вёрсты бесконечны.

Поварня Элёрсубит (убиенных). Она названа в память битвы, происходившей здесь несколько столетий тому назад, между русскими и якутами с одной стороны и ламутами — с другой. По преданию, многие легли здесь костью. Поварня стоит над спускающейся к большому тарыну кручей и печально внимает странному шуму, происходящему от какого-то акустического фокуса, вследствие известного расположения гор. Суеверная фантазия жителей полярных стран видит в этих столах плачь убитых. Справа, слева, впереди и позади высятся каменные громады с совершенно отвесными стенами, красиво взбирающимися в высь и теряющимися там где-то, в далёкой синеве неба. Это Тастахския (т.е. каменные) горы. Глубоко залегли под верхним слоем почвы торфяники. Воздух до того чист и прозрачен, что малейший шорох далеко звенит в горах. Многоголосное эхо отражает каждый звук. Сидя у подножья гор-великанов, испытываешь какое-то странное, непонятное ощущение — и страшно становится, и начинаешь понимать суеверие дикаря, разукрасившего и одухотворившего тишину и таинственность мрачно-молчаливых, но величавых исполинов. И кажется, что на тебя смотрят не мёртвые очи природы, а укоризненные, недоумевающие глаза «убиенных».

Веками остывавшая и на веки застывшая природа, точно задумала крепкую думу и, не разгадав её, заснула вечным, холодным сном...

Элёрсубитский тарын представляет странную игру природы. Непрерывное течение вод из-под скал образовало в глубокой ущелистой впадине род озера, в которое извиаются всё новые и новые ручьи. Окружённое со всех сторон отвесными каменными стенами, оно не имеет выхода. Страшная высота, постоянный прилив с гор обуславливают до дна промёрзшую и неизмеримую глубину. Это тарын вечный — вне зависимости не только от той или иной температуры, но даже и от времени года. Кругом лето, солнце жжёт, мириады птиц оглашают воздух, деревья в зелени и рядом с этим не то зелёный, не то светло голубой, прозрачный лёд, на протяжении 20 вёрст; или наоборот, в самый лютый холод стоит на поверхности его вода, не подвергаясь его действию.

Бедняга-ямщик совсем растерялся. Живой, говорить, не доеду обратно... Вчера огонь в камине кричал — олень пал. Теперь опять вот «кричит» (издаёт треск, что служить худым предзнаменованием). Да, мало бывалому здесь не сладить. На двадцативёрстном тарыне или гладкий, бесснежный лёд, или вода и снег по колени, а то каменник и нескончаемые гольцы, и опять тарын, по которому свищет ветер, отбрасывая в сторону оленей. Кружим, бьёмся, перебираемся по снежным бугоркам и въезжаем в кольцо гор, образующих колонны, тоннели, ворота, пещеры и террасы. Прямо навстречу загородила дорогу обнажённая скала. Выхода нет. Но вы круто делаете поворот и перед вами, незаметное до сих пор, ущелье. И всё это создано не человеческой рукой, а капризом природы!

Пустыня и смерть. Сухой мох и лишай, — вот всё, что вы встречаете на этом длинном и трудном пути. Проезжая по самому порогу скал, ждёшь, — вот-вот обрушатся на тебя эти висящие в воздухе глыбы и задавят. Камни падают беспрестанно. Нам случалось: только минуешь опасное место, как с треском грохнул на землю стопудовый осколок.

После стольких невзгод, когда измок, продрог и измучен, — не иметь чем утолить голода, — этого нам ещё не приходилось испытать! Но на выручку выступает тунгусёнок и предлагает нам приличную часть вчера павшего оленя. Да здравствуют тунгусы, кричащий огонь и палая оленина!..

VI.

Мороз крепчает. Ночь всё ниже и ниже опускается на землю, окутывая окрестность беловатым туманом. Ослепительно-белой пеленой принарядилась земля. Время уже за полночь. Луна рисует волшебные тени на остроконечных утёсах. Крутой холод нещадно морозит руки и ноги, ледянистые иглы растут

на усах и ресницах. Дышать трудно. Сквозь морозный дым, высоко-высоко в далёком небе, кругом опоясанная всеми цветами радуги, разливает свой тихий, меланхолический свет полная луна.

Сказочно-чудный, фантастический вид северного сияния положительно приковывает взор. Есть ли ещё в природе что-либо похожее на чарующие переливы красок всевозможных цветов, то ярких, то нежно-бледных?! Сначала на севере горизонта показывается охватывающий пол-неба пожаром и постепенно бледнеющий круг. От него, точно брызгающие лучи, начинают появляться и исчезать едва уловимыми, мимолетными вспышками громадные снопы, переливающиеся из бледно-зелёного и голубого в ярко-красные и фиолетовые треугольники, напоминающие высокие остроконечные шапки. Целые потоки нежно-радужных цветов, целый сонм огней, с ничем несравнимую для глаз быстротой, сменяются несколькими ложными солнцами и лунами. Невозможно оторвать глаз от этих бриллиантовых переливов. Весь замираешь в каком-то сладостном оцепенении. Это великолепное зрелище нужно видеть, чтобы понять, что оно не поддаётся описанию.

Кругом ни звука. Только мерный и дружный топот двадцати оленей, попарно запряжённых в легкие берёзовые тунгусские санки, нарушают эту тишину, да ещё изредка разве треснет в лесу древесная кора, покоробленная морозом, или зашуршит по обледенелым и заиндевевшим сучьям падающая ветка, — неслышно утонет она в снежном покрове, и снова всё смолкнет, словно сама природа в заколдованном сне чутко внимает этому тихому, чарующему величию полярной ночи.

Но вот картина постепенно меняется. С северо-востока потянул резкий, пронизывающий до мозга костей, холодок, всё более и более усиливающийся. Морозная снежная пыль столбом взвивалась кверху. Закрутил вихрь, вздымая снежные клубы и переметая с места на место огромные сугробы снега. Запорошило в лесу. Застонала старая лиственница, осыпая с своих высохших веток искристый причудливый убор.

Жутко в тайге. Всё живое бежит и прячется по норам и лазам, хоронится под крепкий слой снежного покрова.

Вихрь, пролетевший по верхушкам деревьев, находить себе необъятный простор в тундре, в горах, на наледи. Там нет ему преграды. Крутит и вьёт он снежную пыль, вздымая гигантские колонны и наметая целые холмы.

Пронзительный, злой ветер дует с такою силою, точно хочет сказать: «я зол и знаю, что это вам не нравится; а всё-таки я злюсь и ещё сильнее буду злиться»...

И ещё порывистее вздымает он снежные волны и несёт их, низвергает и сталкивает противоположные, и адски-злобно хохочет.

Сквозь это завывание, точно нестройным хором, проносятся и плачь, и стоны.

Что сулит он — этот жестокий, незнающий пощады ураган — бесконечный в ширину, неизмеримый в длину, не понимающий сожаления, не ведающий пределов?!..

...Время уже за полночь. Не видно ни звёзд, ни месяца, так недавно ещё любовно поглядывавших на землю.

Горе теперь путнику в эту бурную, морозную ночь. Дорогу замело, овраги засыпало. Понуро бродят на ощупь олени. Проводник то и дело останавливает их и смущённо оглядывается по сторонам, пристально всматриваясь в чёрную бездну ночи. Но даже зоркий и опытный глаз этого сына тундры не может различить ни одного предмета. Прямо на встречу несётся бешеная пурга, слепит глаза, знобит тело, как иглами колет лицо, замая след ледяной пылью, и уносится далее, в тёмное пространство ночи, жалобно завывая в ущельях. Всё дальше и дальше мчится суровый ураган.

Вот на взгорье, у края лесной чащи, над промёрзшей до дна извилистой речкой, мигнул из трубы огонёк-другой, — мигнул и снова исчез, как бы чего-то застыдившись. Завыла метель по углам встретившейся на пути якутской юрты. Растрёпанная, точно косматый лесовик, стоит юртёнка и покорно ждёт той минуты, когда её совсем занесёт снегом, — убогая, покосившаяся, словно выбежала она из лесу и недоумевая, как-то боком, остановилась у проезжей дороги, слезливо помигивая своим единственным ледяным оконцем. Неприветливо смотрит эта юрта: всё в ней убого, неприютно и грязно. Но как ни бедна она, в ней всё же можно обогреться, обсушить промокшую одежду, протянуть окоченелое тело.

На сегодня муки довольно.

Полунагие обитатели юрты, еле прикрытые звериными шкурами, гостеприимно спешат вам на встречу, помогают снять верхнее платье, готовить кипяток. Из пламени камелька тянутся время от времени тонкие струйки голубоватого дыма. Но вот вы обогрелись. Обитатели юрты улеглись. Только одна древняя, полуслепая старуха, которая, на вопрос об её летах, отвечает: «не знаю, не помню, что-то давно уж живу», — только она не спит. Она рада русским. Русские напоили её кирпичным чаем, они дали ей кусок ржаного сухаря, а теперь, пожалуй, дадут и лист табаку, до которого она такая охотница. А она за это споёт им песню. И она запела по-якутски: «Бедные русские! Откуда они идут? Они идут из далёкой полуденной стороны. Они терпят лишения и холод, к которому не привычны. Бедняжки! Они не спят, не

знают покоя. Зачем оставили они свою тёплую землю, своё незамерзающее море? Моё сердце болит, мне их жалко. Бедные русские!..»

Но вот и старуха, удовлетворённая листом табаку, бережно положила кусочек его в рот, пожевала, поохала и, кряхтя, улеглась.

Неверный свет последнего полена дров вспыхивает, скользит по бревенчатой закоптелой стене, рисуя на ней фантастические тени. Всё реже и реже вспыхивает огонь в камельке. Темно, душно...

А на дворе всё также стонет и жалобно взвизгивает ветер. По верху юрты несётся вихрь и дико гудит в открытой трубе. Где-то вдали слышится протяжный, щемящий душу вой голодного волка, по временам относимый в сторону неукротимым ветром. Невесёлые думы лезут в голову, томят душу. Властно охватывает тоска, мысль о далёкой, покинутой родине.

Но некогда предаваться думам. Надо спать. Завтра опять далёкая, томительная дорога, опять холод и дрожь, и опять какое-нибудь отвратительное логовище, с полу-зверьями, полу-людьми, к которому будешь мысленно стремиться и которому всё же будешь рад, когда его достигнешь...

Мы стремимся нагнать проехавший впереди купеческий караван в надежде купить что-нибудь и, действительно, нагнали и купили 20 фунтов пшеничных сухарей за 16 рублей! («Для вас разве только уступаю»). Сухари эти крошатся, перетираются и обращаются в порошок, который мы ложками сыплем в стаканы с чаем и этим перебиваемся, пока не въезжаем в Колымский округ, границей которого служить хребет Алазейских, или Колымских гор, пологий подъём на который мы совершаем почти незаметно. Сбываются предсказания о гостеприимстве здешних якутов. Нас закармливают разнообразной рыбой, от которой начинает уже тошнить. Последний олений станок проехали с комфортом. Колокольчики, лямки на красной подкладке, а джагобул, из типа фатов-кучеров, делает нам честь и везёт сам. В крохотной юрте по дороге меня приняли за священника и подошли к руке, испрашивая благословения. Патриархальность и дичь. На последней станции больной старик-хозяин на вопрос: почему ты так потеешь, — отвечал: «Увидал русских, сердце забилося и пот прошиб — испугался очень». Последний столятидесятивёрстный переход до города делаем на лошадях. Поварни чистые, с полами, каминами, оронами и столом. Ямщики добросовестно везут и охотно кормят нас за подарки.

Мы в глубине глубин на Азии, краю света, сделав 13 тыс. вёрст. Кажется, что всякому, заброшенному в эти дебри, возврата нет.

Но вот из-за густых тальников показалась старая деревянная церковь, забелела лентообразная, широкая река. Там и сям разбросаны русские дома вперемежку с юртами. Целая масса людей: русские, якуты, мужчины, бабы и ребятишки — всё это бежит нам навстречу, окружает наши нарты и затрудняет

движение. «Российские, русские приехали... Спедиция (экспедиция)... дохтур» — и, жадная на впечатления и новости, молва пошла гулять. Вот он Колымск и вот его обитатели! Они-то и будут предметом моего дальнейшего повествования.

Часть 2. Гор. Колымск и его обитатели.

I.

После жизни, носящей все признаки культурности и цивилизации, очутиться в таком захолустье, как Колымск, очень тяжело. Уже один беглый взгляд, брошенный на низкие дома, кое-где разбросанные по городу без плана и системы, попеременно с юртами, — на их плоские крыши без кровель, на ледяные окна, на трубы, заткнутые какими-то лохмотьями, на деревянную, почерневшую церковь — уже один этот взгляд вселял тревогу и достаточно ясно убеждал, что жизнь в Кодымске полна грусти и печали. Вдобавок приезд мой в Колымск совпал с весенним временем, когда обнажаются закоптелые стены домов, с юрт отпадает смазка безобразными кусками глины, льдины протаяли и заткнуты грязными тряпицами, а местами и вовсе выпали, заменённые натянутой на раму налимьей кожей или исписанной бумагой.

— Поезжайте в гостиницу, — сказал я казаку, когда прошло первое ошеломляющее впечатление при въезде в Колымск.

Казак удивлённо посмотрел на меня. Он, казалось, делал усилия, что-то соображал, стараясь уразуметь значение этого слова. Наконец, поняв меня, он ответил:

— *Этого* здесь нет.

— Как, ни одной гостиницы нет? — спросил я, искренно возмущённый и озадаченный — А где же остановиться?

— Девка! — крикнул вместо ответа казак остановившейся посмотреть на диковинных людей девушке. — Беги к своим, спроси: пустят на квартиру *новоприезжающих*.

Девушка мигом бросилась в близ стоявший дом, вскоре возвратилась и, стоя поодаль от меня, сказала: «Хозяйка говорит: *за всяко просто*» (т.е. пожалуйста, мол, без стеснения).

Я вошёл в просторные сени, а оттуда в довольно чистую горницу с гладко выскобленными стенами, с пылавшим камином. Всё убранство комнаты составлял стол, несколько деревянных, некрашенных стульев, да по полу, вместо ковров, были разостланы коровьи кожи, красиво подобранные из квадратных клеточек белого и чёрного цветов.

— Вы нас уж извините, — сказала нам хозяйка. — Мы колымский народ, может не угодим вам, русским людям.

Не успели мы ещё снять верхнее платье, как в комнату стали один за другим прибывать какие-то люди в бобровых высоких шапках, с громадными цветными шарфами, в длинных фланелевых блузах под короткими меховыми куртками. Все они, очевидно, бежали, торопились, потому что дышали прерывисто. Каждый из них истово молился Богу, затем подходил к нам, здороваясь за руку, и, не называя своей фамилии, произносил: «С приездом!» Затем подходил к хозяйке и поздравлял её с вновь приехавшими. Все пришедшие, между которыми не было ни одной женщины, чинно усаживались. Очевидно, это был колымский бомонд; сужу так потому, что, не смотря на свободные места на скамьях, многие стояли у дверей и для поздравлений к нам не подходили. Вскоре комната была совершенно полна.

— Поговаривайте, — обратился ко мне один из гостей.

— О чём говорить? — наивно удивился я, тогда как должен был ответить: «Нет ничего».

— Каково дорожку коротали?

— Что в Якутске нового? Болезни каковы?

— Говорят губернатора сменили?

— А каковы сей год снега? Промысла каковы по тракту?

И т.д., и т.д. В этом роде мне приходилось отвечать на множество вопросов.

Вошёл какой-то не то казак, не то мещанин и нерешительно приблизился ко мне.

— Отец Феофил кланяется, просил не оскорбиться. Говорить: пусть-ка, если письма привезли, пришлют мне. Говорит: я немогаю, прийти проздравить с приездом не могу, — так пусть, говорит, не оскорбятся.

Вслед за этим посланным и за многими другими, которым я раздавал привезённые с собой письма, открылась боковая дверь, пропустившая опрятно одетую девушку с провалившимся носом, несшую громадный поднос, на котором установлено было несколько десятков чашек и блюдец с мелко наколотыми кусочками сахару, а вслед за нею появилась хозяйка, держа впереди себя тарелку, аккуратно уложенную перерезанными пополам маленькими белыми булочками. Чашки обносились по чину: именитые, знатные, богатые гости получали первыми; они брали чашки на колени, доставали с блюдечка кусочек сахару, а у хозяйки крохотный кусочек булки и, соблюдая деликатность, неторопливо прихлёбывали из чашки мелкими глотками. Окончив эту церемонию, гости вставали, опять крестились на образ и, прощаясь говорили: «К нам милости просим напредки, познакомимся» или:

«Покорно просим к нам за всяко просто». Я тогда не знал ещё необходимого на этот случай ответа: «Ваши гости».

Не мало был я удивлён всеми этими посещениями незнакомых мне людей, но впоследствии я и сам делал то же, как только весть о приезде доходила до меня. Кое-как одевшись, я опрометью бежал увидеть свежего человека. Жажда вестей, одна лишь потребность видеть новое лицо, или лицо, долго бывшее в отсутствии, особенно, если оно явилось из «Якучко» т.е. из места, где, по мнению колымчан, свет и жизнь бьют ключом — гнали меня ко вновь приезжему, будь то священник, чиновник или купец, и я задавал ему вопросы, немногим разве отличавшиеся от вопросов, предложенных мне моими гостями.

Впоследствии я узнал, что, хотя дамам не принято приходить первыми к приезжим, но что и здесь дочери Евы любопытны, а потому и идут на всякие уловки и хитрости: чтоб взглянуть на новое лицо, они стоят за перегородкой и главное своё внимание обращают на платье, интерес их преимущественно сосредоточен на моде, они жадно расспрашивают новое лицо о её новостях, особенно, если это новое лицо женщина. Впрочем новости мод доходят в Колымск спустя много времени после того как в России они уже забыты. Недаром же один купец, встреченный мною на обратном пути из Колымска, на вопрос мой: «Что нового?» ответил: «Да ничего. Вот разве новость — кринолины отменены, да и то по Высочайшему повелению».

Мне пришлось побывать у всех обывателей, начиная с исправника и колымского лорда-мэра и кончая многими казаками и якутами. Только после этого нашлась квартира, оставшаяся свободной вследствие командирования одного из священников на жительство в улус, т.е. округ. Один обыватель предложил мне стол, у другого нашёлся стул, там ушат, кровать, — словом, приходилось собирать домашнюю утварь со всего города, так как ни лавок, ни мастерских, где бы вы могли найти что-либо, нет и в помине. Ничего подобного колымчане, всегда принимающие самое живое, иногда даже трогательное участие в русских людях, не продают. Они *уступают, делятся*. В Колымске даже существует особый термин: *поделиться*. По большей части это делается совершенно бескорыстно или же с вами делятся, памятуя, что и вы можете пригодиться. Особенно, если речь идёт о человеке российском, эта так сказать задняя цель несомненна. Дня через два по моём приезде мне пришлось в этом убедиться, когда ко мне пришёл городской голова - один из самых деятельных помощников в устройстве моей квартиры, снабдивший меня съестными припасами и вообще охотно дававший мне практические советы, чего колымчанин избегает, так как считает это неприличным. Если вы обратитесь к нему с просьбой высказать своё мнение, он, если мало с вами

знаком в особенности, непременно скажет: «Сами знаете. Вам лучше известно». Так вот, приходит этот обыватель и, переминаясь, говорит:

— Будьте добры пожаловать к моей супруге.

— Это зачем? — спрашиваю.

— Нездорова. Больно хворость одолела. Поветрие, надо быть.

— Хорошо, но я-то причём в этом случае?

— Не оставьте, сделайте милость, полечить... какоенибудь лекарство.

— Да послушайте, — говорю я, подозревая какое-то недоразумение. — вы, должно быть, думаете, что я врач. Но вы ошибаетесь.

— Покорно прошу, — кланяется и не отстаёт обыватель. — Хоть посмотрите: всё-ж вы российский народ, учёный.

— Нет, не могу, не пойду. И не пойду потому, что помочь не сумею. Я в болезнях ничего не понимаю и могу даже повредить вашей супруге. — решительно отказываюсь я.

— Так. — говорит, глубоко вздохнув, по видимому обиженный обыватель и удаляется.

Но он, очевидно, понял мой отказ по своему. Ведь я тот самый русский человек, который познал всё, которому всё доступно, которому понятен язык звёзд, говор морской волны. Я выдумал пароход, железную дорогу, я уподобляюсь птице и летаю по воздуху, я всю жизнь сладко ел и пил, я вырос на хлебе, на науках и книге — и чтоб после всего этого я не мог излечить его супругу! Факт для колымчанина невероятный. «Чтонибудь да не так» — решает он в своём бедном уме. И вот он идёт домой, где ждёт его, полная надежды и упования, больная жена, достаёт из запертого ящика бережно спрятанный клочок бумаги и чернила, и через малое время в квартиру мою входит молодой казачонок, кладёт на стол громадного мёрзлого глухаря, круг масла, с десятков оленьих языков и подаёт мне записку следующего содержания: «Милостиви друг раджи бог не от кажи мою супругу, в тора нижеля дух затыкает, е 2 носит ноги и кашля вошла и не выходич. Такая кашля мольч страсть¹, подавал касторки, не отпускает; мы за вас русских людей бога молим, радумся, приехали как господь нам послал светлую звезду, а вы не от кажит. Ваш приятель П.Б.».

Камень бы тронулся, читая эти безыскусственные, молящие строки. Отослав обратно гостинцы, я сказал через посланного казака, что приду. Захватив с собой лечебник и кое-что из моей походной аптечки, я невольно отправился к больной. Кто знает, авось, думал я, помогу ей чем-нибудь. Быть может, вера в знание и всеилие русских людей и оздоровит больную. Прихожу. У жарко натопленного камина, вся раскрасневшись, металась полная, красивая

¹ Сильный, страшный, вообще высшая степень, форма, употребляемая для усиления действия.

женщина. Что мог я сделать? Я дал ей несколько порошков хинину, да порошков от кашля, советуя хорошенько пропотеть. Женщина стала благодарить.

— У нас ученик (фельдшерский) ничего не понимает. Ни пульцу не пощупает, ни языка не посмотрит, — сказала она.

— Кава он будет смотреть? — отозвался муж. — Его и вытащить не лёгкое дело. Онамеднись к барину (к исправнику) звали — не пошел, так барин приказал казакам принести его.

— Что-ж, принесли? — спросил я.

— Как не принесли? Принесли, а барин и говорит: — лечи! А то, говорит, велю запереть тебя здесь и водки не дам¹.

Но дорого стоил мне этот визит. В течение нескольких дней я сделался предметом самых настоятельных требований со стороны болящих. Потянулись один за одним клиенты: у кого дочь хвораёт, у другого жена немогает, дальше сердце расколосось, там печёнка передвинулась к пупку, глаза вылазят на лоб. Пошли всякие: не пускает, затыкает, захватило, кровь остановило, кашля вошла, наконец, одна казачка звала меня к больному мужу, у которого чахоточная золотуха вышла в нос... Можете себе представить моё положение! Пришлось сделаться врачом. Надо было взять книжки, лечебники, читать, думать, демонстрировать на себе, проводить у больных часы, штудировать фармакопею и варить лекарства. Я попал в глупое, но безысходное и неловкое положение, объясняемое только тем ужасом беспомощности, на которую обречён колымчанин. Впоследствии в Колымск приехало ещё несколько интеллигентных людей, из которых был один ветеринарный врач и несколько фармацевтов; они, конечно, заняли моё место врача и, нужно сказать, лечили всегда с успехом в случаях, разумеется, не особенно трудных. Спустя года два приехали и врачи.

Была весна. Голод страшный. Все запасы иссякли; вытаскивали из погребов и амбаров трёхлетнюю, лежалую рыбу. Смрад по городу был ужасающий, даже за деньги нечего было купить, если не считать медовых пряников по одному и полтора рубля за фунт. А тут эти болезни — вечные спутники голода: — не то воспаление лёгких, не то осложнённый бронхит...

Как бы то ни было, но и в том, и в другом случае я бесполезен и несведущ, хотя знаю, что многим помог советами, построенными скорее на логике и наслышке, нежели на знании медицины.

В доме дьячка, где было пятеро детей, старик отец жаловался мне: «Вот уж неделя, как живём одним чёрным чаем (т.е. без молока). Сегодня купили 1 фунт

¹ В Колымске и при мне, действительно, был ещё такой же точно случай, когда исправник, очень тучный человек, привыкший к кровопусканию, почувствовал прилив крови к голове. Вечно пьянствовавший фельдшер отказался придти на зов исправника, который и приказал казакам принести его к себе на руках, что казаки и исполнили.

пряников. Вот лежит. Не знаю: есть ли его, или детям раздать». Положительно надо удивляться терпению и выносливости аборигенов во время периодически повторяющихся голодовок. Чем только они жили в это время, и в чём у них душа держалась? Когда я неотступно приставал к ним или к местным тузам, у которых всегда бывает в запасе пища, с вопросом: — Но позвольте, объясните всё-таки: чем же они живут, есть-то ведь надо? — то я всегда и неизменно получал один и тот же ответ, ничего ровно не объяснявший:

— Вот так и живут.

Или:

— Вот так и живём.

И я сам на подобный вопрос ничем иным не мог бы ответить, как теми же словами.

— Эх, хоть бы наша матушка, кормилица-Колыма скорей бы разрешилась: свежей бы рыбки поели, — мечтает колымчанин, а пока копает в погребке ледяную землю и находить в ней остатки совершенно сгнившей рыбы, которую варит и ест. Если в эту пору войдёшь в обывательскую избу, то обоняние поражает такой острый, кислый запах, какой только может исходить из самого заражённого, зловонного места. А между тем в природе уже заметно пробуждение от зимнего сна, заметно оживление. В городе уже нет снега, хоть им ещё белеет заречная сторона и далекие горы, трава пробилась и зазеленела, солнце играет и золотит обнажённый лёд на реке... и этот удушливый, знойный воздух составляет такой разительный контраст с помолодевшей природой, что кажется, будто кто-то умышленно оскорбляет чистый, целомудренно-девственный мир, понося и хуля его...

Но вот наступила половина мая, и с юга потянулись целые вереницы диких уток, а вместе с тем берега реки стали оттаивать. Обыватель пришёл в ажитацию. Целый день и ночь он занят ружьём, отливанием дробы. Он энергично бродит по тайге или сидит на берегу Колымы и других малых речек, на мочажниках и озёрах, перебирается с опасностью для жизни по рыхлому и уже дряблему льду и жадно караулит птицу. Жизнь вышла на улицу. Никто не спит. Ночи стали белы, но ещё разнятся от дня тем, что солнце хоть на короткое время прячется за лес и за горы. Колымчанин ожил. Если даже он плохой охотник, несмышлёный и не меткий стрелок, то и в этом случае он своей *фузеёй* убьёт в день пять-десять уток. А тут подлетели уже гуси и лебеди, дальше уж можно кой-где сеть поставить на мелкую рыбу или щуку, которой, впрочем, здесь пренебрегают. Колымчанин повеселел, он выглядит бодро и самоуверенно. Он не только сам сыт, но и рассылает всюду гостинцы, за которые надеется получить, в свою очередь, чаю, кусок сахара или тарелку

муки, и начинает подготавливаться к предстоящим промыслам, к выезду из города на *заимки*, т.е. на реку за 20, 50, 100 и более вёрст, в места наибольшего движения рыбы, к тоням, где рыба заходит метать икру.

Колыму вспучило. Она посинела. Наконец, её взломало, и она разрешилась. Величественно и спокойно потянулся сплошной массой лёд. Постепенно откалываясь от общей массы, напирая друг на друга, одна льдина нагоняет другую, врывается, взбирается на неё и образует ледяные причудливой формы холмы. Раздаются страшные, оглушительные удары; неудержимо стремится всё вперёд и вперёд вода, лёд, оторванные с корнем деревья; с диким криком несётся перелётная птица; льдина давит на льдину, на неё взбирается новая, опускает их на дно, образуя живой мост, готовый при сильном толчке сзади плывущих льдин распасться на мелкие ледяные осколки, но по которому, однако, колымчанин рискует пробираться на средину реки за подстреленной птицей. Обыватель стоит и смотрит на выступившую из берегов реку, затопившую низменную часть города, на загромождающие её льды и с трепетом, с ужасом задаёт себе вековой вопрос: «Будет сей год потоп иди пронесёт?»

Чтобы читатель понял весь ужасный смысл этого вопроса, я должен пояснить его.

Колымск стоит на низменном берегу реки. Когда река весною разливается, она затопляет этот берег. Но вольная вода не смущает жителя Колымска: очень далеко она не пойдёт, да она и не опасна. Пожитки на крышу, люди в лодки или в лес — вот и всё. Не то, однако, будет, если внизу реки случится *затор*. Тогда со страшной силой и быстротой верхнее течение несёт гигантские льды, толщиной в 2-3 аршина, которые, не имея свободного пути, скопляются у городского берега; вода поднимает их, несёт на город, на постройки на избы, заливают, топят, ломает и рвёт... Треск разрушенных изб, вопли женщин и детей, плавающее по воде и истерзанное имущество, рыболовные снасти — вся эта картина до неопишескости ужасна. Как под Дамокловым мечом, колымчанин ежегодно находится под страхом *потопа*. А между тем средство избавиться от опасностей и страха под рукой. В самом селении протекает в крутых берегах бешеная речонка, берущая начало с озёр и впадающая в Колыму. У города она имеет в ширину не более 50 саженей. Вот за этой-то речонкой берег Колымы крут и высок. Стоит только перекинуть через речку на летнее время мостик и строиться по ту сторону — и не будет ежегодной боязни, страха и опасности. После страшного разгрома, произведённого наводнением 1885 года, колымчане, по почину и с помощью администрации края, стали селиться там. Таким образом Колымск разделяется на две части: собственно город и Заанкудинье, по имени речки Анкудин. В городе церковь и

большинство обывателей, а в Заанкудинье живёт начальство, там караульный дом, запасные магазины, пороховой склад, полицейское управление и пр. Но колымчанин туго идёт на новшество, он слишком консервативен и его трудно убедить перейти на ту сторону. Он предпочитает ежегодно весной, собрав домашний скарб и детишек, перейти за речку, разбить палатку и жить в ней, пока выяснится, что опасности нет, т.е. пока Колыма совершенно не очистится от льдов.

— И-и-и, *мамона!* — тянет он. — Наши деды здесь жили, пущай же и мы *этта* помрём. У нас храм Божий. От него уйти нам никак нельзя.

Но вот красавица Колыма покатила свои воды спокойнее. Только необъятная ширь её указывает, что ещё так недавно она полна была страстной энергии и деятельности. Зеркальная поверхность её чуть зыблется нежным ветерком: ни шороха, ни звука. «Глядишь и не знаешь: идёт или нейдёт её великая ширь».

А обыватель суетится. В доме чинят и приводят в порядок снасти, сам он с подростками-мальчиками снаряжает свою лодку. Надо ладиться и скорее ехать на обильный, свежий корм, на сытую, жирную едушку. Даже собаки и те повеселели, чуя близость конца голодовки. И вот Колыма запестрела. Там и сям чернеют лодки с домашней утварью, бабы запели песни, собаки радостно визжат. Мало по малу город опустел: дома забиты, окна заколочены, нигде ни души. Точно вымерло всё, точно в этих домах ещё вчера не жили, не страдали люди...

В городе остаётся лишь несколько семей, да и те норовят съездить в Нижне и Верхне-Колымск или поехать по реке, собрать рыбы и вообще побыть на промысле, где колымчанину всегда весело.

Рыбопромышленные заимки тянутся от верховьев Колымы; где только есть живая душа на расстоянии до Нижне-Колымска, а оттуда до устья реки при впадении её в океан, — всюду найдётся промысловая заимка. Иные из городских жителей предпочитают неводить вверх, так как сплавь рыбы в город по течению реки лёгок и не требует ни времени, ни особых приспособлений. Вверх обыкновенно промышленяют малосемейные или вообще незажиточные. Чтобы жить на хорошей тоне по нижнему течению реки, где рыба, благодаря близости океана, и жирнее, и обильнее, нужно иметь несколько лодок, обширный завод и много рабочих рук. Рыбу приходится возить в город против довольно сильного течения реки, кой-где бичевой на собаках, а где и на гребях — это требует много времени, денег и людей. На некоторых заимках колымчане образовали селения дымов в 20-30 и больше. Это обыкновенно лучшие тони. Но, благодаря обилию неводов, каждому из них приходится ждать своей суточной очереди. Впрочем, таких мест на Колыме

очень мало. По большей части на расстоянии от 10 до 40 вёрст — тоня и на ней 2-3 невода: в иные годы случается, что рыба выбирает, *полюбит*, как говорят колымчане, почему-то одну, две тони и здесь трётся. В 10-ти верстах на одной заимке промысел обильный, а сосед «насилу питается от воды, а придётся, так и из погреба», т.е. из запаса. Жить на реке и есть не «из воды», а из рыбы, сложенной в погребе или засолённой — это для колымчанина несчастье. В этих случаях довольно часто промышленники сбиваются в кучу на одну заимку. За короткое лето житель Колымы старается, из кожи лезет, не спит неделями, чтоб только сделать большой запас на зиму, так как рыбный промысел в жизни русских и якутов составляет главный источник продовольствия, успех которого, впрочем, зависит от множества непредвиденных обстоятельств: высокой воды, затопляющей тони, или бурного лета, когда за ветром трудно неводить, и разных других мелких, но неисчислимых причин. Иногда густой ход рыбы может зависеть от того, что акула и кит преследуют и, стало быть, гонят целые стаи рыбы из океана в реку. Весною рыба идёт вверх по реке, и ход её продолжается короткое время, но у неё есть особенно излюбленные места, где весенняя рыба не идёт дальше к верховьям реки, а летует у тоней. Колымчане очень плохо сохраняют рыбу. Недостаток в соли, посуде, хороших погребах, нерадение, лень, недостаток рабочих рук, наконец, способность есть тухлую, прогнившую рыбу — всё это причины того, что рыба прямо сбрасывается в плохой погребок или яму, где она тухнет, гниёт, и нужно много выносливости, нужно испытывать голод, от которого вы почувствуете боли в желудке, чтоб потреблять такую рыбу зимой; но колымчанин ест терпеливо, без отвращения и только скучает за *свежинкой*.

Добытая из воды, рыба обыкновенно потрошится, часть её идёт на сушку в виде юколы, т.е. распластанной, просушенной и прокопчённой в дыму, другая солится, пока хватить соли и посуды, в полубочках из под спирта (флягах), скупаемых у купцов, после того, как содержимое их продано. Из внутренностей вываривается жир, идущий в пищу и на освещение.

Не смотря на однообразие материала, колымчанки ухитрились замечательно разнообразить свой стол в летнюю пору. Из нельмы они варят прекрасный суп, сдобренный диким луком, в изобилии растущим в долинах и полях, искусно варят потроха мелких рыб, готовят котлеты (тельно) из твёрдого тела щуки с подливкой из свежих ягод. Нужно отдать им справедливость, — колымские женщины дошли до такой виртуозности, что умеют делать пироги, так называемые «радужные», т.е. кожанные, не употребляя муки; или подадут вам фальсифицированные блины-*барабаны*, нежный вкус и вид которых почти не отличается от лучших блинов из белой муки, тогда как это не более, как толчёная икра, для лёгкости толчения сперва подмороженная, вылитая на

сковородку и поджаренная на рыбьем жиру. Колымчанин очень любит рыбу. Правда, он скучает и об мясе, и хлебе, но спросите его, согласен ли он иметь в изобилии мясо и масло и не есть рыбы, и вы услышите: «как можно! без рыбы, что уж за жизнь? Этта чтоб я рыбу променял; нет, без рыбы я свой живот потеряю, живой не буду». Тороватый на сочинение песен, по каждому незначительному событию в его серой бесцветной жизни, он даже воспел рыбу. Вот образец колымской музыки в этом роде:

А сельдяжее тельно:
Распревкусное оно,
А икряный барабанчик
Да на рыбьем на жиру!
А налимия уха
Чудо-прелесть хороша;
А к тому же и пупки
Что за прелести они!..

Как «голодной куме всё хлеб на уме», так колымчанин весь пропитан рыбьими интересами. Рыба не идёт с ума, она заполонила его мозг, сердце и душу — от неё зависит его «быть или не быть», его довольство внутреннее, тёплая изба, ситцевая рубаха, чай, табак, починка снастей, гульба и пьянство, выдачи дочерей замуж. Вот почему его песня, в которой сказывается мирозерцание, душа народа — рыба, как и всё, что в нём есть от начала до конца.

Во время промысла работают все: мужчины, бабы, девки, подростки и даже малолеткам находится работа. Но на долю баб, как и везде, здесь выпадает больше работы. В маленьких семьях они и на неводе, и по хозяйству, и по уборке рыбы, они и пищу готовят, дрова заготавливают, шьют и починяют непромокаемую обувь и чайники кипятят. А одна эта последняя работа так много отнимает времени, что в богатых колымских домах для этой цели назначается специальная женщина, так как колымчане вечно пьют чай, если не у себя, то в гостях, и пьют не два-три стакана, а от 10 до 30 чашек; чайники никогда не снимают с шестка камина.

Чтобы поставить «завод», т.е. всё, что входит в понятие о рыболовных снастях, необходим целый капитал. Нужно иметь рублей до 70 на холст и пряжу, рублей 30 на конский волос для сетей, необходимо иметь две лодки, из которых одна большая (*кочевник*) служит для кочёвок всей семьи, другая малая (*неводник*) для самого промысла, — а обе они стоят до 40 р. Кроме того, необходимо иметь хоть одну *ветку* или *стружок*, т.е. лодчонку-скорлупу, выдолбленную из целой осины или сшитую из трёх листовых досок. Последняя, поднимая одного человека, управляется одним двухлопастным

веслом, которым действуют со стороны на сторону, чрезвычайно вертлява и легка и служит для охоты на реке на зверя и птицу, а также и для быстрого переезда куда нибудь. Помимо всего этого, нужно хоть 30 посуды-фляг для солки рыбы и много других мелких снастей и принадлежностей. Словом, чтоб иметь хорошую заводину, от которой безусловно зависит удача промысла, колымчанин должен располагать суммой от 200 до 300 рублей разом и притом ежегодно подновлять, исправлять невод, лодки, сети и проч. А через два-три года невод становится негоден и должен быть переменён наново, так как материал, доставляемый в Колымск купцами, как и все вообще товары, по большей части, непрочный и гнилой. Реки же изобилуют не одной только рыбой, но ещё древесными пнями, кокорами и морскими водорослями, от которых невод рвётся, портится и гниёт.

Откуда же колымчанин, при его материальном убожестве, может найти такую крупную сумму?

В этом случае ему приходит на помощь заезжий купец или богатый обыватель, скупающий у него за бесценок будущий улов рыбы. Если он казак — он продаёт своё довольствие, получаемое от казны (муку и крупу), а также и жалованье за несколько месяцев и даже за год вперёд. Дорого обходится колымчанину эта помощь. Не последнюю причину голодовок нужно искать в вечной кабале, которою опутан обыватель и из которой ему никогда не выбиться. Но, быть может, было бы ещё хуже если б этой помощи не было.

Что же получает колымчанин за свой неусыпный труд, за то, что мокнет под снегом и дождём, за долгие бессонные ночи? Прежде всего, он и его семья в продолжении всего лета сыты. Затем, в лучшем случае, он сделал запасов:

10-20 фляг рыбы просоленной:	25-50 пудов
<u>От 200-500 рыбы вешаной (т.е. вёклой):</u>	<u>20-50 пудов.</u>
Итого: 45-100 пудов.	

Прибавьте к этому небольшой запас рыбьего жира, годного в пищу и на свет, да некоторое незначительное количество юколы — и вы получите результаты неусыпных трудов колымчанина. На долго ли хватить такого запаса? Если мы возьмём семью в пять человек и положим ей на день хоть 15 фунтов, то, принимая даже максимальную цифру промысла 100 пудов, мы придём к заключению, что запаса этого хватить на 266 дней, т.е., что 100 дней в году, как оно и есть на самом деле, колымчанин обречён на голод (три фунта рыбы на человека в день это вовсе немного, если припомнить, что, кроме неё, он редко имеет что-нибудь в пищу). Что же будет, если принять во внимание годы мало-промышленные, старые, изодранные неводы, из которых рыба уходит, неудачный осенний улов сельдей, прожорливость собак, которых в каждом дворе не менее шести, наконец, многочисленные семьи? Ответ один: голод!..

Впрочем, приведённые цифры количества добытой рыбы далеко не точны. Колымчане независимые, зажиточные — те, на шее которых не тяготеют долги, за которые расплата происходит всё из того же промысла, те не только запасаются вдоволь и никогда не претерпевают лишений, но ещё придерживают рыбу и к весне перепродают её по баснословной цене. Но таких колымчан немного, я же беру общий вид колымчанина-промышленника, так сказать, срединный. А для такого типа приведённые данные ещё преувеличены. Сыт обитатель Колымы только в то короткое время, когда он живёт на заимке. Из остального времени года, он частью перебивается впроголодь, а частью голодает буквально, т.е. ест так, как я описал выше. Нередки случаи, когда он возвращается с промыслов ни с чем; нет почти ничего ни для себя, ни для собак, и не пройдёт месяца после обилия и сытости, как он уже бегаёт по городу, что-то продаёт, что-то обещает доставить, кому-то подряжается на дрова, предлагает свой промысел будущего года... под *едушку*.

Обратите внимание на последнее слово: едушка! В этом слове нежность, уважение ко всему, что можно есть. В голодном воображении колымчанина рыбка, чаёк, бурдучок¹, мучка — вырастают в поэтические образы, он лелеет эти образы, говорит о них с негой и страстью и, засыпая голодный, болезненно мечтает о них, как мы с вами, о прекрасных, но недостижимых идеалах. Какую массу предосторожностей принимает он, чтоб не прогневить промысел: первой пойманной щуке нельзя рубить хвоста, посолить в одной фляге нельму — самую почётную рыбу — вместе с мелкой рыбой нельзя. Будешь неводить в праздник, и неудача промысла целой заимки будет приписана этому обстоятельству. Будешь неводить нерадиво, упустишь рыбу из снасти, — рыба осердится и промысла не станет...

— Чтой-то, робята, промысла не стало? — сокрушается заимочник.

— А в Акулинин-то день кто неводил? Ванька Налимий Рот неводил — вот промысел прогневили, рыбка не пошла, — разрешает задачу спрашиваемый и находит полное сочувствие в своём собеседнике.

— Таких бы промышленников на заимку не принимать. Всем портят. Рыба — бедняжка тоже ведь любит аккурат: лови-лови и отдых дай ей. Разве она, думаешь, не понимает?

— *Кава*² не понимает? Понимает.

— А всё отчего? От *диктовки*³. Вот вроде Ивана-Суеты. *Ординарно*⁴ бегаёт, с ветки не слезает, ординарно промышляет, а всё ничего нет, к Покрову уж едушки нет. Пойдёт баба в амбар за рыбой. А где она? *Никто нету*.

¹ Бурдук — по-якутски мука.

² Кава — т.е. как.

³ Диктовка, много диктовки — суетность, хлопотливость и вообще сложность чего-нибудь.

⁴ Ординарно — беспрестанно, то и дело.

В Колымске не мало людей одиноких и семей, у которых нет никакого завода, или если и есть, то неполный: или невод половинчатый, или нет *карбаса* (лодка — вероятно, от слова баркас) или, наконец, всё это есть, но, по тем или иным причинам, нет рабочих рук. В таком случае производится *спарка*, т.е. соединяются (спариваются) один с другим: две половины невода в один, или невода одного хозяина с карбасом другого, а то просто одна сторона даёт рабочие руки, а другая завод. Малосемейные берут в помощь работника или работницу, но редко, почти никогда за деньги, а из рыбы: третьей или четвёртой, — это значит, что работник получает, помимо полного довольствия, ту или другую часть промысла, которой располагает, как ему вздумается.

На заимке одна семья не имеет права держать больше одного невода. Иначе богатые завели бы по несколько неводов, и для неимущих очередь неводить выпадала бы очень редко. Не отделённые от общей семьи, женатые сыновья получают право на $\frac{1}{2}$ невода, который спаривается с кем-нибудь. Но на разных заимках никто не возбраняет иметь по одному неводу хоть на каждой. Очередь неводьбы всегда ведётся справедливо, точно до мелочности и в большинстве случаев посуточно. В этом отношении колымчанин-пролетарий никому не позволить сесть себе на шею. Вообще справедливое и участливое отношение колымчан друг к другу должно быть отмечено, как явление общее. В семье заболел или уехал хозяин-работник, и за него всегда придёт неводить кто-нибудь из однозаимчан и будет работать как для самого себя. Уход за неводом требует аккуратности и внимания. Прометав *суточную тоню*, невод надо развешать на приспособленных к тому вешалах, очистить каждую ячейку от водорослей, сора и древесных веток. Брошенный в лодке или не хорошо развешанный, невод быстро подвергается порче, ячейки рвутся при малейшем к ним прикосновении, и рыба свободно уходит из невода. Дождь, снег — пусть мочит его. Это ничего: лишь бы снасть была развешана. После каждой неводьбы невод требует починки и поправки; тщательно осматривают поплавки и грузила, верёвки, лодки и вёсла, чтобы к следующей очереди было поменьше диктовки и не было необходимости *пороть горячку*, т.е. торопиться.

На заимке колымчанин живёт как-нибудь. Дома, по большей части, у него нет. Да и не стоит его заводить, потому что не всегда можно и выгодно жить в одном и том же месте: это зависит от хода рыбы в том или другом месте реки, оттого, что зачастую тоня портится. В ней появляются ямы, или её начинает завивать, благодаря смытому нагорному берегу. В кой-как наскоро сколоченном из неотёсанных брёвен балагане проводить колымчанин своё страдное время. Ни печи, ни камина, ни кроватей в такой урассе не полагается. Он спит на земле, редко на досках, дым клубится по избе и ест глаза, а чуть перестал курить дым, как тучи комаров осаждают и едят его тело. Нет, уж

лучше пусть дым. Запах неубранной рыбы наполняет жильё зловонием, а он сидит и, чашку за чашкой, вливает в себя крепкий настой кирпичного чаю, закусывая юколой, макая её в свежий рыбий жир. Он сыт, а, стало быть, доволен и счастлив. Если вообще внешняя жизнь колымчан жалка, то на заимке она ещё более поражает свою убогостью и производит впечатление жизни кочующего дикого племени, но уж никак не русских людей — потомков смелых завоевателей края. Впрочем, иные из них устраиваются поудобнее. Богатые имеют дома, перевозят на заимку мебель, победнее — делают к своему балагану пристройку (*белый дом*), где вы найдёте камин, пол и кровать — нары. Пол устлан свежей душистой хвоей лиственницы, комары не миллиардами, а только тысячами заползают в щели, и всё чисто и опрятно. Но это, повторяю, редко и делается больше для виду, для приезжих из города гостей, к которым колымчане особенно чувствительны из тщеславия: «и мы не хуже других». Вообще же колымчанин беспечен и, если хотите, можно, пожалуй, сказать, удобств не понимает, т.е. потребности в них не ощущает.

Всё время, занятое рыбными промыслами, колымчанки занимаются сбором ягод. В Семёнов день, 1-го сентября, они специально уезжают в горы за сбором брусники. Мужчины же во всё лето охотятся на птицу и дикого зверя.

Промысел на птицу особенно развит в Нижне-Колымске и кой-где по окраинам лесов, в месте жительства якутов. К морскому берегу прилетают гуси, лебеди и утки. Тогда промышленники отправляются разорять птичьи гнёзда из-за яиц. Но когда лишённая перьев птица не в состоянии лететь, когда она вылиняла и может лишь плавать, охотники собираются группами, пугают птиц собаками, бьют палками, топчут ногами, хватают руками и душат, или загоняют в озёра и речки, где ловят сетями и умерщвляют веслом. Добытая птица тут же потрошится и готовится в сушку, а кому лень это делать, закапывает свою долю в земляные ямы до зимы. Этот вид промысла год-от-году падает: птицы прилетает всё меньше и меньше, или она гнездится на островах и вообще в местах, куда не может проникнуть всепокоряющий, безжалостный глаз человека. Даже весенний перелёт её значительно уменьшился в Колымске на моих глазах. Так, первый год моего пребывания в нём, я лично стрелял уток из окна моего дома. Теперь птица стала осторожнее; прилетевшая Бог знает откуда, сколько ружейных салютов она выслушала на своём пути!.. Её ухо чутко к каждому выстрелу, а глаз научился различать ствол ружья; теперь она летает где-то стороной и забирается в недоступные для охотника места.

Колымчанин постоянно настороже: не летит ли гусь, не плывёт ли олень или лось. В последнем случае он быстро очутится в ветке-скорлупе, где всегда наготове копьё, несколькими взмахами весла быстро нагоняет зверя и колет

его. Нужен опытный и верный глаз, чтоб угодить зверю в такое место, чтобы он сразу обмер, нужно много отваги и самообладания, чтоб не вывернуться из утлой лодочки. А раз это случится, тогда колымчанин погибнет на глазах у целого селения, потому что плавать он не умеет, и одной минуты достаточно, чтоб он, как свинец, пошёл ко дну.

Все надежды колымчан устремлены на осень, на сентябрь, когда наступает большой ход сельдей. В это время они целыми полчищами идут из моря в Колыму метать икру. Как бы ни был беден и скуден летний промысел, достаточно показаться благодетельной сельди, и в два-три дня удачной неводьбы колымчанин доволен, потому что сделал запас, если не для себя, то для своего скота-собаки. Впрочем, сельдьятка (очень вкусная рыба) необходима не только для собак: за неимением нельмы (большая до полутора пудов жирная рыба-аристократка) можно довольствоваться и ею. Сельдей прибывает из океана такое множество, что в благоприятные годы в одну тоню, т.е. за один замёт невода, ловят до 3,000 штук, а в три-четыре дня хороший промышленник добудет от 40 до 50 тысяч. Это не сказка и особенно относится к Нижне-Колымску, где близость к океану обуславливает всегда лучший промысел и где на сельдяжий промысел обращено особенное внимание промышленников, так как в Нижнем единственное хозяйство, единственный скот — собаки, которых у каждого обывателя, по крайней мере, 12, а у иных и до 30, а их надо ведь прокормить чем-нибудь.

Нижнеколымчанин ленивее и беспечнее средневеца. Чтобы прокормить 12 собак в течение долгой зимы, ему требуется 12 тысяч сельдей, и, добыв их, он бросает промысел, хотя-бы вода кишмя кишела рыбой.

— Что, паря, напромисьсяй *двенадцат*?

— Напромисьсяй, — нехотя отвечает паря, потягивая из трубочки.

— И я. Станем ежать... А то давай ещё...

— На что?— флегматично отвечает тот. — Будет. Бабушке на той свет повоёкёшь?..

— И то, — соглашается товарищ. — Ежать станем.

И лежат. А рыба уходит. А с января он уж пойдёт к кулаку, и за каждую рыбину обяжется заплатить летом пять. А неостанет рыбы, уедет к чукчам и будет лежать у них, благо, как гостя, кормят и его, и собак.

Нет, средневец всё-таки более энергичен, более развит и более думает о будущем, т.е. о весне.

Вместе с сельдьяткой оканчивается осенний промысел. Колымчане переезжают в город по воде, плывут с песнями. Многие же остаются на реке для охоты на оленя, да и вообще жить над водой удобнее. Как бы ни было, а на ежедневную потребность всегда можно достать из реки, особенно когда она

станет. В это время появится налим, можно метать сети (из белого конского волоса) подо льдом, можно запрудить реку в узкой протоке, между островом и берегом, тальником, хворостом и лесом, к чему колымчане прибегают почти ежегодно. В осеннюю пору, когда река окоченела, ветры выгоняют из моря нельму, муксуна и омуля, и ловля продолжается с переменным успехом до конца ноября, когда тьма, холод и толщина льда заставляют промышленника прекращать работу и возвращаться в зимние жилища. Но и тут колымчанин зорко следит за лесным зверем и птицей: он ставит пасти и петли на лисицу, песца и другого зверя, стреляет глухаря, а придёт тепло и свет, т.е. февраль, как он уж ладит какую-то хитрую снасть на куропатку и зайца. Словом, каждое время года меняет и занятие колымчанина.

Удача промысла зависит не только от того, что в реке есть рыба, а в лесу зверь и птица, не только от хороших снастей, лодок и прочего, но ещё и от личности промышленника. По мнению колымчан, промысел *любит* человека *с сердцем*, т.е. с энергией и настойчивостью. «Вон, смотри, старичок, ему уж 80 лет будет, топор поднять не в силах, а на промысле страшной». Такого человека промысел любит: к другому рыба в сеть нейдёт, а человек с сердцем на том же месте сеть поставит и у него она полна рыбой. Рыба к нему *уважительна*. Даже слово *промышленник* колымчане применяют только к хорошим промышленникам — этим выражается: уменье, сметливость, хитрость в отношении зверя, догадливость — словом, сердце. Сердца нет — и нет удачи. Хозяйственному, трудолюбивому колымчанину никогда не будет отдыха, раз он охоч к труду и дальновиден. Кончилось время промысла, он сидит в избе, строгаёт какие-то ловушки, чинить сети, делает нарту, исправляет собачью упряжь, наконец, чего стоит чуть не каждый день съездить в лес за дровами в жестокий холод и тьму? Работы много, труд более чем тяжёлый, труд каторжный, и, конечно, не всякий способен к нему, тем более в пору голодовок. Какой уж искать тут энергии и настойчивости? Дух и тело слабы, «сердца нет». Если бы когда-нибудь русского или европейского крестьянина постигла такая голодовка, как колымчанина, весь мир поднялся бы на ноги, братские чувства народов пришли бы на помощь голодающим, заговорили бы о неурожаях, о социальных условиях. А колымчанин голодает тихо, без шума, безропотно. Тут же под боком у него казённый магазин ломится от хлеба, амбары и погреба нескольких богачей переполнены «едушкой», а колымчанину и в ум не придёт заняться экспроприацией, он продолжает молча страдать.

II.

Стояла чудная сибирская погода. Неглубокий снег быстро стаял, и лето явилось необыкновенно рано: старожилы не запомнят ни такого раннего лета, ни такой суши; за то комары очень уж надоедали.

Колымск окружён густым кольцом лесов. Куда ни бросишь взор, везде необозримый лесной океан сливается с горизонтом. С начала июля леса загорелись. Горел весь округ. Стоял сплошной дым, в воздухе пахло гарью, небо помутнело, солнце выглядело печальным и имело вид жёлто-грязного пятна на глубоко-сером фоне; лучи его точно силились пробиться сквозь густоту дыма, но напрасно, и на город, застланный им, то и дело падали обуглившиеся куски древесной коры, ещё продолжавшей дымиться и после падения её на землю. Городу грозила опасность загореться, и исправник не раз уже высылал казаков унимать пожар: рыть канавы, спускать в них озёрную воду. Но что можно было сделать, когда ветер перебрасывал не только горящий уголь, но и целые сучки и поленья, когда вместе с лесами горела самая почва, т.е. необъятная торфяная залежь!

Я уже подумывал было куда-нибудь уехать (в городе положительно дышать приходилось с трудом), как в один из таких скверных дней в занимаемую мною юрту вошёл молодой казак.

— К вам, — сказал он односложно.

Я молчал, ожидая дальнейшего.

— Хозяйка кланялась и говорит: если-ка они желают, пусть едут с нами прогуляться на заимку, на Быстрое — сообщил посланный.

Быстрое — рыбопромышленная заимка в нижнем течении Колымы, в 160 верстах от города. Я выразил готовность ехать. Я избавлялся от дыма, от мрачного вида висящего и давящего город бурого тумана; не мешало, кстати, проветриться вообще, посмотреть на промысла. Говорили, что по низу реки пожары не так сильны...

Мы условились с любезной обывательницей, у которой была своя лодка, свои люди и собаки, выехать рано по утру.

Начали грузиться чуть не в пятом часу утра. Пол-карбаса было занято порожними флягами, собаками, какими-то ящиками, перемётными сумами, другая же половина затянута палаткой для нас; это защита от ненастья и комаров, но в ней обыкновенно так душно, что предпочитаешь мокнуть и быть искусанным *бурдахом*¹.

В конце июля ночи уже настоящие, тёмные.

¹ Бурдах — по-якутски комар.

День на исходе. Солнце ниже и ниже горит на небе и нехотя, медленно опускается за горизонт. Река, погружённая в полумрак, закуталась клубящимся туманом. То там, то сям проглядывают тени. Тьма и тишина наступают исподволь, но твёрдо и неотразимо. В тёмно-синем небе проступили тысячи звёзд. Тишь и сон. Спит река, спят горы, леса — опочил весь мир, и над ним небесный свод чудно сияет своей величавой красой. И как дивно хорошо кругом! Такие хорошие мгновения в Колымске редки. Я боюсь проронить одно из них и, не отрывая глаз, глубоко вдыхаю в себя аромат хвойного леса, приносимый чуть-чуть трепещущим ветерком.

Но погода вдруг резко изменилась. С «тихого угла»¹ подул резкий «восточник», называемый «дедушкой». Откуда ни возьмись, облака затянули небо и, как это часто бывает в Колымске², жар сменился довольно-таки ощутительной прохладой, а потом и холодом, и на землю разом не упал, а повалил густой, крупный снег. Это было 24 июля. Сумрачно и тоскливо. Не прошло и часа, как весь берег покрылся сероватой грязью. Хлопья снега носились в воздухе, падали на лодку, на одежду, западали за шею, в рукава... Пришлось идти на гребях, так как нечего было и думать о бичеве. Гребцы выбивались из сил, а лодка двигалась чуть заметно. С большим трудом, под косым ветром, бросив лодку из стороны в сторону, достигли мы глубокою ночью ночевья — заимки Кульдино, где поселилось до 25 промышленников. Это одна из обильных рыбой тоней. Здесь живут по преимуществу богатые промышленники, а между ними зажиточная и, по колымским понятиям, аристократическая семья Б., о которой мне говорили, что больше и лучше её никто не добывает. К этой-то семье, несколько уже знакомой мне, мы отправились прямо с берега, рассчитывая заночевать у неё, — кстати же она жила в порядочном доме и вообще в довольстве — применительно, конечно, к колымским понятиям.

Колымскую «интеллигенцию» на заимках встречают не совсем охотно, не выражая этого, впрочем, даже намёком. Это станет понятно, если я скажу, что весь этот непромышляющий люд устремляется на заимки, с целью за бесценок приобрести рыбу. Они запасаются солью, посудой, «проживаются» на каждой заимке, тут же солят приобретённую рыбу, оставляя её в погребах, и на обратном пути забирают с собой или же оставляют до рекостава, т.е. до зимнего пути. Некоторые из особенно энергичных доезжают до Нижнего, всюду забирая рыбу, юколу и жир с условием доставки их в город зимой. Но прежде, чем приступить к подряду или купле наличной рыбы, поторговщики, скупщики, священники и чиновники или их семьи обыкновенно прибегают к

¹ Так колымчане называют восток.

² Колымчане в дороге, в самое жаркое время, запасают в путь меховую одежду.

иному, совершенно оригинальному, способу получать в подарок рыбу от всех заимошников — и в этом главная причина недружелюбной встречи гостей. Способ этот таков. Запасшись чаем, табаком, мукой, солью, сахаром, приезжий гость посылает со «своим человеком» всем заимчанам: кому несколько листов табаку, кому осьмую часть кирпича чаю, кому фунта два-три соли и т.д. — всякому по его нужде, о которой всегда и всем в Колымске, более чем хорошо, известно. Обычай, приличие, тон, а отчасти и действительная нужда не позволяют и помыслить не принять посылки, а тем более не отдарить, не поделиться от промысла; а отдарок всегда неизмеримо выше подарка, так как всякому понятна тенденция этих поездок и посылок, да и сверх того «прогневить не охота» — ведь это всё власть имущие, от которых пролетарий-колымчанин всегда, во всякий момент своей нищенской жизни зависим.

В прежние, патриархальные времена в Колымске существовал обычай на счастье гостя бросать невод. Обычай этот, благодаря частым и нецеремонным поездкам на заимки с исключительной целью эксплуатировать гостеприимство, когда-то вполне бескорыстное, стал выводиться... После этого станет понятным, что приезд наш на Кульдино показался сначала не по нутру заимчанам, но затем семья Б. оказала мне самое лестное гостеприимство: колымчане очень ценят внимание к ним русских людей, не прибегающих к описанным выше способам приобретения «подарков».

Ни на другой, ни на третий, ни на следующий день снег не переставал, да и не стаивал. Дул непрерывный ветер с моря, было холодно, как в октябре, но промыслу это не мешало: метали тони по очереди, рыбу привозили, убирали, но на всём и всех лежала печать непогоды, какое-то угрюмое недовольство. К тому же в момент моего приезда семья Б. находилась в унынии, так как единственному взрослому мужскому представителю её грозила по суду ссылка в Томск! Да, читатель, ссылка в Томск из Колымска вызывает не только уныние, но и рассматривается, как несчастье! Во-первых, по мнению колымчан, там жарко, во-вторых, там живут на *пустом*¹ хлебе, а о рыбе и не мечтай, в третьих, наконец, как же этак вдруг придётся жить не в Колымске, не на Колыме, не на промысле, не в своём старом доме, не на заимке, а в шумном городе, где народу «мольчь комарь»²... Колымчане вообще страшные патриоты, очень амбициозны и от наших посторонних глаз стараются скрывать некоторые из сторон своей жизни. Это особенно стало замечаться после того, как в Колымске была получена книжка г-на Дионео³, который, к слову сказать, далеко не снисходительно относится к этим жалким, неразвитым людям. С

¹ На одном лишь.

² Мольчь — точно, как-будто. Употребляется также для усиления.

³ Имеется в виду, очевидно, очерк «На крайнемъ съверо-востоку Сибиря» И.В.Шкловского (Дионео), опубликованный в журнале «Исторический вестник» в 1885 году. — прим. OCR.

этих пор колымчане стали посматривать на пришлого интеллигента косо, подозрительно и не раз спрашивали меня, например: «А вы, как уедете в *свой город*, поди, тоже станете писать про нас гадости? На гумаге можно всякое разное писать, только надо вежливо *доспеть*... тогда будет *самый сѐп*¹...»

— А по-моему, — отвечаю я, — дело не в вежливости, а в том, чтоб правду написать. Не так-ли?

— Так-ли, нет-ли — уж не знаю, — гордо отвечала мне Александра Ивановна. — Ну, что вы можете про меня написать: я женщина почётная, *детовитая* (много детей), у других дети *не стоят* (не живут), а у меня, слав Бог, детей во сколько. Живём *кайдуть*², многер³ нам завидуют. *Изабуль* (вправду)! Я к вам скажу вот что. Мы вот теперь люди промышленные, *скотистые* (много скота), работаем, девушки у нас все *платочные*⁴. Однако, что ж про нас писать? — Почётная колымчанка старается меня задобрить, говорить мягко, заискивающе. Она хочет меня убедит, во что бы то ни стало, что писать про них нечего и вообще это «нестоющее дело».

А замечательная это, действительно, женщина. Энергии в ней, деятельности непочатый угол. Не смотря на страшные размеры и дородность, она двигается легко, как молодая, изящная девушка. Она командуете всем домом, всем промыслом, всеми рабочими. У неё за стол садится от 20 до 25 человек, лучшая солёная рыба у неё, лучших солёных и прокопчённых сельдяных пупков, чем у неё, не ищите. Не смотря на свои 60 лет, она проворна, неутомима, она не ходить, а летает, всюду поспевая. В доме она носится, как победоносный генерал. Она властно, повелительно, но спокойно назовёт лишь имя какойнибудь из дочерей, метнув в её сторону своими красивыми глазами, и та уж понимает, чего маменька хочет или что ей не понравилось. Весною она наберёт у купцов в долг чаю, табаку, немного мелочи и, имея под полой широкой кофты несколько бутылок разведённого водой спирту, садится в собачью нарту и летит на Анюйские острова⁵, за 1000 вёрст, но отчаянной дороге, где раз в год собираются инородцы, главным образом, чукчи, для меновой торговли, преимущественно для аса *mimil*⁶. Там, набрав от них оленьих шкур, дорогих мехов, готовой тёплой одежды, она кой-что оставит для своих, а остальное перепродает и таким образом «переворачивается». Весною она продаёт излишек от промысла, а вообще говоря, в году нет такого момента, чтоб она что либо не подряжала, чего либо не покупала и не перепродавала; помимо же

¹ Сѐп — по-якутски хорошо, самый сѐп — вполне хорошо.

² Хорошо, зажиточно.

³ Множественное число от много — якутизм.

⁴ Богатство, между прочим, в обилии шёлковых головных повязок.

⁵ Острова, точнее, остров на реке Малый Анюй (правый приток Колымы) в районе современного села Островное, на котором проходила ежегодная ярмарка, старейшая и крупнейшая в этом крае. — прим. OCR.

⁶ По-чукотски спирт.

всего этого, она славится на весь Колымск, как лучшая подборщица мехов, и в этом, действительно, дошла до своего рода виртуозности, а потому многие из приезжих купцов, чиновников, врачей и духовенства и даже якутяне заказывают ей подобрать им тот или иной мех¹.

На Кульдине я прожил целую неделю, благодаря снегу. Был промежуток в сутки, когда снег только порошил, и я воспользовался этим, чтоб побродить с ружьём. На обратном пути, верстах в семи от заимки, в самой глубине леса, среди колоссальных лиственниц я вдруг очутился на прогалине и заметил довольно странной конструкции предмет, лежавший на двух стоячих с обрубленными вершинами деревьях, на вышине от земли сажени в две. Предмет этот имел форму овального ящика. Деревья-подставки стояли несколько поодаль от живых лиственниц и между собою не сообщались. В первую минуту мне пришло на мысль, что это обыкновенный арангас — амбар, которые якуты строят на высоких деревьях, для защиты съестных припасов от происков медведя и других хищных животных (лисицы и песца), разоряющих склады². Но мгновенно же я припомнил рассказы, которые мне приходилось слышать уже в Колымске, что многие дикари, а в частности якуты до своего крещения (в середине XVIII столетия, именно в 1750-х годах) хоронили покойников просто на земле в деревянном срубе, а впоследствии — на стоячих деревьях. Это меня живо заинтересовало, и я решил, во что бы то ни стало, ознакомиться с содержанием арангаса. Не говоря никому ни слова на заимке (так как ни русский, ни якут-абориген ни в каком случае не только не помогли бы мне в таком деле, а даже, пожалуй, в дом не пустили бы), я на другой день, под видом охоты, не смотря на падавший густой снег, захватил с заимки топор и по насечкам, сделанным мною накануне в лесу, без труда достиг места, к которому я стремился. Вырубив несколько тонких жердей и сделав надрубки на столбах, я поднялся кверху. Гробница представляла две лодочки (точная копия якутских стружков), из которых верхняя была опрокинута на нижнюю, в виде крышки, и прикреплена к ней вбитыми в планке клиньями. Дно нижней лодочки держалось на столбах посредством толстых деревянных гвоздей с уширенными кверху в виде шляпок концами. Освободив верхнюю лодочку от клиньев, я сдвинул её в сторону, и глазам моим представился труп человека в тёмной одежде, которая при одном лишь прикосновении оказалась пылью. С большими усилиями мне удалось придать крышке прежнее положение. Рисунок этой гробницы и до сих пор хранится у меня.

¹ В Колымске есть, кроме неё, ещё несколько женщин, специально занимающихся этого рода работой, и кропотливое трудолюбие их в этом отношении поистине изумительно, из мельчайших кусочков: из ушек белки, лапок, головок, хвостов и т.д. подбирая дорогие меха, они непременно оставляют себе некоторую долю, значительную или нет, смотря по их добросовестности, и с течением времени, через много лет, у какой нибудь бедной женщины, гляди, появилось несколько великолепных мехов, которых бы ей и в жизнь не приобрести никакими трудами.

² Автор здесь, очевидно, путает *арангас* с *лабазом*. — прим. OCR.

Таким образом, если даже предположить, что гробница эта относится ко времени, непосредственно предшествовавшему крещению якутов, то и в этом случае, в момент находки, ей можно, было дать, по малой мере, лет полтораста. Лиственница по большей части очень трудно поддаётся порче, и чем старше постройка, тем крепче лесины, её составляющие (исключая соприкасающихся с землёй); очень старые положительно с трудом поддаются топору: они как бы окаменевают, и топор, звеня, отскакивает от них. В начале 1895 г. в Вилюйском округе найден был подобный арангас с вполне сохранившимся трупом, с неотставшим ещё от костей и несгнившим мясом. Чтобы препроводить скелет в Якутск, потребовалось прежде всего отделить от костей тело, причём труп был свеж и не издавал дурного запаха. Не знаю, как разрешили учёные специалисты эту загадку, но я беру на себя смелость сказать, что в данном случае имело большое значение опять таки свойство лиственницы, которая отличается малопористостью, а чем делается старше, тем это свойство её, в зависимости от прогрессивно увеличивающегося сцепления частиц, усиливается; далее лодочка-арангас очень тесна и извне воздуха не пропускает.

Уже перевалило на вторую неделю, а снег нет-нет да и возобновится. Солнце выглянет на несколько часов, немного пригреет, а там, глядишь, снова подул ветер, снеговые облака понеслись по небу, и снова белый, пушистый снег лепит и увеличивает уже нестайвающий белый снеговой покров земли. Нет, надо ехать дальше. Скучно уж очень стало на Кульдине. Обыкновенные наши разговоры в семействе Б. — это рассказы про Россию. Они вертятся вокруг да около сравнений «тамошних мест» со «здешними».

— Ну, а у вас, на вашей стороне, там как, коров нет, надо быть?

И удивлению, и недоверию нет границ. Вообще говоря, колымчане очень охотно слушают рассказы пришлых людей, но слушают так, как сказку, относясь вполне скептически к возможности того, что вы им рисуете. На их лицах вы читаете полное недоверие, скептицизм, а иногда, когда рассказ ваш очень уж недоступен их пониманию, не помещается в их воображении, они выражают это недоверие прямо. Мне не раз приходилось невольно слышать отношение колымчан к моим рассказам, и отношение это неизменно выражалось в одной короткой, «категорической» и совершенно определённой фразе: «Всё вреть», — сопровождаемой ядовитым смехом. Так, я никогда не забуду, как однажды, в целом обществе колымского бомонда, меня дёрнула нелёгкая сказать, что в наших столицах есть дома, в которых проживают по многу сотен людей. Оскорбительный громовой хохот был мне ответом... Очевидно, меня считали лгуном. Помню, что этим смехом я был сконфужен,

даже краску почувствовал в лице, тем более, что, вообще говоря, колымчанин очень вежлив.

Впрочем, если бы колымчанин и поверил всем чудесам культурной жизни, то вся прелесть её может быть сразу разрушена, как только колымчанин услышит от вас, что в России каждая пядь земли стоит денег, что косить где хочешь, промышлять в реках, озёрах и лесах зря, как и где угодно, запрещено, что нарубить дров на топливо и постройку можно не всюду, что всё и вся обложено податью, что в тех местах не редки воровство, грабежи, убийства, что никто и ни в каком случае не может припереть дверь и амбар палкой или лопатой, а должен держать всё на крепких запорах и замках, что везде присутствует глаз власти, глаз полиции... Попробуйте всё это сказать колымчанину, и он перестанет завидовать дешёвизне ситца, плиса, самовара, стёкол и прочего; если он даже поверит некоторым из российских благ, и то всё-таки скажет: «ваша сторона хорошая, а нам *этта*, на Колыме-матушке тоже хорошо, всякий своё хвалит».

Как это ни странно, но мне приходится сказать, что после долгой жизни в Колымске, при обстановке полной патриархального гостеприимства, имущественной и личной безопасности, после безусловно свободного и безмездного пользования всеми дарами природы, мне первое время, по возвращении в Россию, многое было как-то не по себе, всё казалось странным и аномальным, а уж нечего и говорить, что ко многому мне приходилось привыкать сызнова. Каково же почувствовал бы себя в России житель Колымы, которого одна лишь невозможность в ночную пору свободно войти в незапертый чужой дом для того, чтоб в нём согреться, поесть и получить лучшее место для ночлега, поставила бы в тупик? Одна лишь эта невозможность окончательно вооружит колымчанина против наших порядков и образа жизни.

Благодарение небесам, — снег, кажется, унялся. Небо прояснилось, солнце снова льёт свой живительный свет и тепло. Солнце!.. Сколько раз за мою грустную жизнь в грустном крае я поджидал его с затаённым, трепетным биением сердца, сколько раз в долгую тёмную зимнюю ночь я думал о нём, как о далёком милом воспоминании, как жадно я всматривался в него, при его появлении, и как уныло я глядел на запад, когда тусклое, бледное, лишённое жизни и блеска, оно покидало меня наедине с угрюмыми сумерками, холодящей душу стужей и слабо мерцающим и коптящим жирником. Нет, пусть отсутствие простора и шири, пусть не позволять вам никогда в жизни свободно рубить лес, косить где попало, пусть окружают вас воры и убийцы, но пусть хоть через решётчатое, тюремное оконце до вас достигает каждый день луч солнца, пусть, ложась на жёсткое тюремное ложе, вы никогда не подумаете,

что завтра вы встанете и, как внезапно ослепший, будете в страхе и ужасе тереть свои глаза, в надежде, что это ошибка, что солнечный луч блеснёт для вас ещё раз и целым небом отразится в ваших глазах...

Наше плавание до Быстрого не представляло особенного интереса. Мы плыли только днём вёрст по 40 в день, ночевали в прибрежном лесу, избегая, по моей просьбе, жилых заимок в местах наибольшего скопления плавниковых дров, разбив палатку и разводя огромные костры. Колыма изобилует множеством островов, протоков, заливов и проливов, и нужно хорошо знать фарватер реки, чтобы не попасть в быстроту водоворота, не сесть на мель, не натолкнуться на пни и кокоры; нужно сообразоваться с временем срочных прибылей воды. Колымчане это и знают хорошо. Мне оставалось лишь грести, да и то или по собственной охоте, когда надоедало глазеть по сторонам, или чтоб избавиться от необходимости поддерживать беседу с Александрой Ивановной. Но вот, на третий день, там, где Колыма, изменив русло, круто поворачивает на север, при совершенном безветрии показались синеватые густые, точно высокие столбы, ровный, неизломанные и ничем неколеблемые струи дыма, а вместе с тем слышался долгий протяжный вой множества собак.

Когда в зимнюю пору, читатель, после дня полного труда и заботе, вы сидите в Колымске у пылающего камина и, замечтавшись, отдаётесь воспоминаниям, — вой, ужасный вой нескольких сотен собак надрывает вам душу, — о, сколько тоски, какую тяжесть вносит он в вашу жизнь! Но когда вы в любую погоду, а особенно в холодную, морозную, колючую ночь плетётесь верхом на своём коне, продрогший и голодный, когда вам кажется, что не будет конца ни холоду, ни расстоянию, отделяющему вас от жилья, и вы услышите, наконец, сперва смутный, еле различаемый, а потом совершенно явственный вой, — он покажется вам лучшей музыкой, ласкающей слух, и вы будете страшиться, что это не настоящий собачий вой, а лишь игра вашего воображения, что, к слову сказать, нередко и случается.

Но на этот раз это был не обман, а действительность.

Быстрое раскинулось на правом гористом берегу Колымы. Оно как на ладони. Промышленники всех возрастов, женщины, дети — все высыпали на берег: нас встречают, ждут, — зоркий глаз и чуткое ухо колымчанина уже за 10 вёрст провидели нас и, так как никто не знает, кого из них мы почти своим вниманием, то уж непременно во всех домах идёт горячка, т.е. суетня, приготовления к приёму: кипятят чайники, жарят оладьи из белой муки на рыбьем жиру. Самая беднейшая колымчанка где-нибудь в углу ящика, среди своего несложного гардероба, сохраняет в платочке несколько фунтов крупчатки и несколько кусков сахара, который она, быть может, собрала на

визитах в пору больших праздников, так как взятое вами с подноса или с тарелки неукоснительно принадлежит вам.

Но я поселился в отдельном доме. Правда, дом этот был полон щелей, в которых свободно гулял ветер, расстояния между отдельными лесинами в потолке были такой величины, что могли бы свободно вместить ещё по дереву; пол был земляной, весь в рытвинах, но всё это не поражало меня в то время, благо ко всему я уже притерпелся.

Заимка не спала. Одни приезжали с тоней, расположенных за 10-15 вёрст от жилья, другие уезжали, третьи убирали снасти, женщины — рыбу и т.д. Уже было поздно, когда я решил уснуть, но не успел я сомкнуть глаз, как из соседнего близ стоявшего балагана раздались какие-то ужасающие звуки, от которых холод пробежал по всему моему телу. Они росли, увеличивались, они шли, так сказать, *crescendo*, усиливаясь в высоте и темпе до такой степени, что, казалось, у поющей вот-вот разорвётся от них грудь. Казалось, силы её оставили, дыхание истощилось, и вот сейчас я услышу последний потрясающий звук. Голос принадлежал женщине, которая пела по-якутски. Не переводя дыхания до последней возможности, она вдруг закашляется продолжительным, надрывающим кашлем и снова голосить... Сила этого ужасного пенья разрасталась, темп становился всё быстрее. Не в силах преодолеть своего страха, я бросился на голос, и глазам моим представилась потрясающая картина. На низких нарах сидела молодая женщина с распущенными по плечам и ниспадавшими в беспорядке на грудь длинными волосами и, придерживая руками голову, как маятник, быстро раскачивала всё своё конвульсивно вздрагивавшее тело то из стороны в сторону, то взад и вперёд. Она была вся в поту, её грудь ходила ходуном, глаза неестественно блуждали, сильно расширенные зрачки горели каким-то сухим блеском. Порой она отнимала руки от головы и ожесточённо рвала свою одежду, порой прекращала пение, но только для того, чтоб дико захохотать или разразиться истерическим плачем. Во всей фигуре этой женщины, в её пении, смехе и плаче, исходивших из надорванной груди, был один ужас, приковавший меня к месту. Между тем присутствовавшие при этом эпизоде преспокойно, как ни в чём не бывало, продолжали заниматься своим делом. Они разговаривали, смеялись, пили чай, чинили сети и прочее. Тогда эта бесчувственность зрителей меня очень взволновала, но спустя несколько лет я настолько привык к описанному явлению, что отлично спал под пение и плач двух таких женщин, живших в одной со мной юрте. Тогда я понял, что можно притупить свои нервы до полного равнодушия даже к этому явлению, носящему среди колымчан

русских название шаманства, а среди якутов омеряченья¹. В сущности же говоря, ни то, ни другое слово не выражают характера этой болезни. Это не более, как один из видов кликушества, которым заражена в Колымском округе исключительно женская половина населения русских и якутов. Ни чукотские, ни ламутские, ни женщины других колымских племён не знают шаманства; единственное средство избавиться от болезни заключается в призывании к больной шамана, изгоняющего из неё дьявола, посредством манипуляций беснования, к которым прибегают этого рода врачеватели колымских недугов².

Припоминаю также, как, живя в одной якутской семье, хозяйка которой страдала, как и все почти тамошние женщины, припадками шаманства, однажды ночью, лёжа почти голова к голове с этой супружеской четой, я был разбужен её пением, которому у неё предшествовал такой сильный озноб, что зубы выделяли громкую барабанную трель. Якут сонливо обратился к жене и голосом, полным недовольства, сказал: «Перестань... Перестань, говорю!., несчастье...» Затем, когда она перешла к пению, прерываемому стонами, в которых мне слышалось желание удержать себя, подавить в себе нахлынувшее непреодолимое желание голосить, муж нехотя встал с супружеского ложа и, захватив с собою одеяло, которое он стащил с жены, оставив её совершенно нагой, поплёлся к другому орону и, как ни в чём не бывало, уснул, накрывшись с головой.

Единственное внимание, которое оказывают в таких случаях шаманствующей женщине, это то, что, по её просьбе, дают ей трубку или спирт, если он есть; а просьбы такие всегда сопутствуют припадку, и женщины, никогда не курящие и не пьющие вина, во время припадка, который продолжается иногда до двух часов, страстно втягивают в себя табачный дым и пьют спирт. Замечательно, что никогда в подобных случаях русские женщины не поют иначе, как по-якутски. Мне рассказывали даже, что те из них, который якутского языка не знают, на этот раз будто бы вдохновляются какой-то сверхъестественной силой и поют на языке, им неизвестном. Среди нервных, истеричных болезней местных женщин — это самая сильная форма, которой, обыкновенно, предшествует головная боль, угнетённое состояние духа и которая продолжается иногда с перерывами в течение недели. Более же слабая — это омеряченье в прямом значении этого слова, которому не чужды и

¹ Emirécha — повторять, специально относится лишь собственно к этому явлению. На другие случаи слово «повторять» выражается у якутов иначе. (Автор, конечно, спутал два совершенно разных понятия: форму религии шаманизм и психическое расстройство эмиряченье — прим. OCR.)

² Здесь уместно будет сказать, что вера в всеисилие шаманов, в их общение с духами, — равно развиты как в среде якутов, так и в среде русских. Мне припоминается один из богатых купцов, человек почтенных лет, якутский общественный деятель и филантроп, с увешанною медалями грудью, который, заболев в Колымске ревматизмом, прибег к помощи шамана.

мужчины и которое действует заражающим образом и на пришлых русских людей. Омерячены в Колымске безусловно все русские и якуты, а в Нижне-Колымске, например, где скуднее и однообразнее питание, где природа более уныла, где менее впечатлений и куда вести извне доходят ещё реже, нежели в Средний, омеряченье проявляется в более интенсивной степени и в разнообразнейших формах. Но и среди омеряченных различаются две разновидности. В одном случае субъект совершенно потерял над собою волю, он страдает потребностью подражания, исполняет всё, что бы и кто бы ему ни приказал, как бы ни было нелепо приказание. На улицах Колымска не редкость видеть, как мальчишки и молодые казаки делают себе потеху из этих не владеющих собой женщин. Вы увидите, как среди улицы какая-нибудь старуха на жгучем морозе пляшет, поёт, кричит, взвизгивает и смеётся, и всё это по приказанию других. Прикажете ей поднять полено и ударить им кого-нибудь, и она послушно исполнит ваше приказание. Однажды мне пришлось видеть отвратительную сцену, когда уличные бездельники морили несчастную жертву. Она нехотя смеялась, плясала, сохраняя угрюмое, серьёзное, почти страдальческое выражение в лице. Был один момент, когда старуха овладела собою и с палкой в руках бросилась на своих истязателей, но поднявшийся хохот и шумные крики снова обезволили её, и она, поворачиваясь и извиваясь во все стороны, подражала им, стараясь повторить все звуки, которые до неё долетали...

Если этот тип встречается не столь часто и преимущественно среди старых женщин, то стремления повторять ваши слова, ваши телодвижения — явление общее, причём повторивший быстро спохватывается, ему делается как бы совестно.

— Что вы это делаете? — спрашиваете вы.

— Что это вы делаете? — слышится вам в ответ и тотчас же: — Э!.. что я сказала?..

Вы только открыли дверь чужого дома и ещё не успели перешагнуть за порог, как кто-либо из женщин уже кричит: «Э!.. человек пришёл», и вот присутствующие хором ответят: «Э!.. человек пришёл». Кажется, к концу третьего года моей жизни в Колымске я стал замечать за собою, что иногда совершенно бессознательно повторяю чужие слова и целые фразы.

Наряду с этим колымчанки чрезвычайно пугливы. Стук, грохот, падение чего-либо на землю, всякое шумное внезапное движение заставляет колымскую женщину вскочить и крикнуть что-либо вроде следующих фраз: «Ой, приехали... ой, расколосось,, ой, человек убился... ой, Христос пришёл и т.д.». Нередко пугливая женщина среди самой мирной обстановки, без всякого внешнего повода, может крикнуть что-либо вроде приведённых фраз.

Однажды на именинном обеде у одного из представителей колымского бомонда, одна из дам схватила вдруг свой прибор и, прокричав: «ой, ловите... упало», с размаху бросила тарелки оземь. В другой раз в страстную субботу в церкви момент первого удара колокола так подействовал на одну женщину, что она, обернувшись и произнеся бранное, неприличное слово, ударила по лицу близ стоявшую к ней другую женщину без всякого, конечно, умысла.

Наблюдения над шаманствующими женщинами приводят к заключению, что девушки, страдающие припадками, с выходом замуж избавляются от них. Но проходит несколько лет замужества, и припадки снова возвращаются, весьма вероятно в зависимости от обилия так называемых женских болезней, являющихся результатом варварских способов, которые колымчанки практикуют при деторождении. Затем, можно предполагать также зависимость шаманства от болезни солитёра, которой колымские женщины страдают чаще мужчин. Очень часто мне приходилось констатировать одновременность припадков шаманства с движениями солитёра в желудке, вызывающими сильно болезненное состояние, сопровождаемое необычайной раздражительностью, расстройством нервов и упадком сил.

Я уже целый месяц проживаю на Быстром. Шатаюсь с ружьём, посещаю окрест живущих якутов, ездил верхом на коне в большой компании в горы на поиски за лосем, бываю на тонях, но всё это скучно-скучно. Я ко всему пригляделся, многое, если не всё, уже надоело, не интересует, а тут эти дожди и снега вперемежку. Снег, как это бывает годами, с августа уже не стаивает, по ночам заморозки и холод. Солнце закатывается сквозь обрывки туч, вечера наступают рано. Целыми днями дуют ветры, холодные, снежные. Осенняя пора. Но это далеко не милая пора увяданья — «очей очарованье», не безропотное тихое умиранье природы. Нет. Это нечто до нельзя тяжёлое: мокрое, слезливое, холодное, сырое, приносящее вавилонскую тоску и что-то сродни отчаянью. Утки давно уже улетели, а гуси и лебеди только что поднялись и высоко в далёком небе несутся вереницами. Сколько их погибнет на пути, сколько замёрзнет, какая масса молодых детёнышей останутся без руководителей и, не зная, куда держать путь, будут сидеть где-нибудь над озером, пока холод не убьёт их. По большей части я посещаю казачью семью N, состоящую из стариков — мужа и жены, четырёх незамужних дочерей (из которых у каждой по несколько детей) и одного взрослого сына. Это, не в пример прочим колымчанам, энергичный, дельный человек, прекрасный промышленник на рыбу и зверя, немного кулаковатый, по-своему честный, страстный игрок в карты и ко всему этому Дон-Жуан. Интереснее всех в этой пользующейся в Колымске почётом, но нелюбимой семье — старуха, здоровая, полная

женщина, неглупая, но грубая. В ней всё грубо: манеры, походка, голос — басистый и резкий. Она славилась на всю заимку умением перекричать не только любую бабу, но и всех их вместе взятых. «Если по настоящему зыкнет, непременно от страху медведь упасть должен», — говорили мне заимчане. Вот с этой-то дамой я проводил иногда долгие часы за самоваром. Она несколько походила на Кульдинскую матрону, но была значительно проще, хотя вполне убеждена в своей аристократичности. Она вела вечную войну с своими дочерьми, которых иначе не называла, как девками. «Эй, вы, девки! Где шаландаетесь, почто чаю не пьёте?» Её голос всегда слышен на заимке. То он звучит из избы, то она ругается с девками в амбаре, то появляется на вешалах, где сушится рыба, то, глядишь, она уже на берегу. «Что-то не слышать нашу крикуху, уснула, надо быть. О, Господи и не пристанет ведь: как есть двухжильная, двухсердечная...» говорят колымчане. Иногда среди глубокой, тёмной ночи вы слышите её голос, выкрикивающий на улице: «Девки, девки! Где вы там? Девки-и-и!..», и через минуту: «Леший, леший! Приди сюда! Бери моих девок в стряпки.. Отдаю тебе их! Леший, приди!., накормлю, напою, только удержи моих девок» — оглашает она ночную тьму, а заимчане, отлично понимая, что означает это обращение к лешему, потихоньку хихикают, опасаясь быть услышанными страшной старухой: услышит, появится и не отделаешься тогда. «Страшная — одно тебе названье», говорит про себя колымчанин. Чтобы читатель, в свою очередь, понял это странное приглашение лешего, я должен сказать только, что, обходя ночным дозором заимку вообще, а место, где почивают «девки», в частности, она, по большей части, не находит их дома... «Покричишь — отойдёт от сердца огорчение, авось либо и уснёшь: хворость невры спутала». Она считает за признак высшего тона говорить о своих болезнях; каждый день у неё появляется какая-нибудь новая, но самая, так сказать, известная и приличествующая ей, как даме, это болезнь невров, болезнь «вполне к богатым интересная».

— Девки! будет вам *чваниться*. Ой-да вставание ваше всесветное. Убирать рыбу надо: искиснет, вот и станете исти кислую зимой, не дам свежей, сама стану исти струганину (сырая, мёрзлая рыба), а вас на сельдятке держать стану...

— Ну, и времена стали — жалуется она мне. — Тоже и мы молодые были: как в сок войдёшь, известно: дело наше девичье, а всё-ж вежливо всё доспевали, ни духу, ни запаху, ни слова, ни разговора, а теперь на-ко, поди... Нет, некурьёзный (несерьёзный) теперь народ стал. Вчера, опять пошла на девок посмотреть, перекрестить захотелось. Пришла, а где есть? Никто нету, пусто место осталось.

Только чрезвычайная патриархальность и простота нравов может объяснить следующую сцену в церкви, свидетелем которой я был лично. У образа святителя Николая Чудотворца стоит эта воинственная колымчанка и, молитвенно сложив руки, устремив глаза на лик святого, вслух (могла ли она иначе?) говорит следующие слова: «Отче! Святой угодник! Господи Иисусе Христе! Помилуй мужа моего, раба твоего Николая, сына моего, раба твоего Кешу»... и после некоторой паузы, после заметного раздумья: «Ну, уж Бог с ними... и девок тоже... помилуй, пусть... тоже ведь бедняжки...» Чтобы покончить с этой моей приятельницей, скажу ещё, что однажды она почтила меня следующим монологом. «Вот на ваших местах, говорят, народ такой есть — жиды и ещё есть авреи. Красные, сказывают, авреи бывают, а жиды, вот что Христа Спасителя распяли, так те, сказывают, вот этакий тоже народ есть безьяны (обезьяны), так на них обличем схожи. Ой, мамочка, какой только народ страшный есть. Вот тоже, я слыхала, черкесы есть, так те собак кушают... Папа, это стало быть митрополит над митрополитами — так приказал до исповеди не допускать этот народ».

Подобных монологов мне приходилось слышать от неё несметное множество. Пусть не подумает читатель, что он представляет что-либо исключительное. Если я привёл его, то именно за его типичность: он как нельзя лучше рисует удивительное, полное ужасающих сведений мнение колымчан о тамошней стороне, в которой поразительнее всего — это незамерзающее море. Море, которое (можете ли вы это понять?) никогда, ни во веки веков не стынет!..

В начале сентября начинался ход из океана сельдятки, а вместе с нею появилась на реке туча. Это очень смущало колымчан. Туча, как известно, близкий предвестник рекостава, а раз река стала, для большинства бедняков, которым не под силу проживать на заимке, промысел кончился. Казака, например, служба требует в город, малосемейных зовёт в город необходимость ладить на зиму избы, мазать их, конопатить, исправлять. Нужно привести в порядок нарты для доставки на них из лесу дров. Колымчане приуныли. Сельдяжий промысел, на который всегда так надеется обыватель, которого он ждёт, который, в сущности говоря, один только и спасает, по-видимому, в этом году «осердился, прогневался». Так или иначе, а быстринцы что-то начинают поговаривать о кочёвке, о том, что надо плыть в город, что сей год зима будет ранняя, что того и гляди река остановится и «запрёт жителей». Прошло несколько дней, и некоторые начали уже убирать снасти, ладить «кочевники-карбасья», вот уж и нагрузили их, посадили собак, умостили детей, завернулись в тряпье и, дрожа от стужи, тронулись в путь, но без песен, как обыкновенно, а уныло, недовольно, переругиваясь, упрекая друг друга. Вообще не весело.

Еду и я с ними. Лодки с трудом двигаются в густой ледяной каше, бока их хрустят; того и гляди колющий острый лёд сделает пробоину в ветхих, непрочных, осиновых стружках карбасов. Весло опускается точно в тесто, намерзает, тяжелеет, руки стынут. С трудом достигаем до первого привала на берегу реки, ночуем в лесу, а на утро, 13 сентября, первый проснувшийся человек констатировал, что Колыма остановилась, и лодки заморозило. «Заперло», сказал он и стал поднимать народ. Разгрузили лодки, стащили и поклажу подальше от воды на сухой берег. Теперь надо ждать: или ветер переменится и разобьёт лёд, или мороз окрепнет и окончательно скуёт реку. Скорее последнее. Мы прожили на этом месте трое суток, некоторые под палатками, другие под опрокинутыми лодками, а многие под открытым небом. И только на четвёртый день тронулись в путь. Идти раньше было бы рискованно. Небо не прояснялось, и мороз поэтому был слабоват, проток и быстрые места реки медленно поддавались замерзанию, они ещё боролись. Побросав одежду, утварь, съестные припасы, наша группа, в числе 15 человек, с лёгкими котомками за плечами, двинулась в город, ночуя у прибрежных жителей, всюду встречая привет, ласку и сочувствие. Многие оставили там на берегу детей и женщин и сами ушли от них, но для того лишь, чтоб прислать им на помощь из города собак. Тяжёлый это был путь и опасный. Тонкий, неокрепший лёд гнулся под тяжестью человеческого тела. Только благодаря опытности, замечательному знанию реки и отваге молодого Я., мы не погибли все и не провалились под лёд в быстром и глубоком месте реки. Через пять дней, буквально изнемогшие, обессиленные, оборванные мы увидели город. Я мог, наконец, отдохнуть. Но каково было моим спутникам, большинство которых в тот же день должно было вернуться к покинутым семьям, чтобы доставить их домой в нетопленые, холодные избы.

И теперь в моей памяти всё ещё проносятся картины жизни в этом крае унынья, крае без прошедшего и будущего, жизни, лишённой надежды... Мысль замерла, чувства остыли, нет даже страдания, а есть только ноющая грусть, тихая, неотвязная, от которой пропадает даже охота отделаться... Под гнетущий, неопиcуемый вой трёх сотен собак, наполняющих чёрную ночь своеобразным концертом, к которому нет никакой силы, никакой возможности привыкнуть даже за долгие годы, — погружаешься в беспредметную тоскливую дремоту, ищешь забвения. А дни и месяцы минуют, текут годы и безвозвратно куда-то исчезают, и начинаешь позорно забывать: зачем жил, чего хотел, к чему стремился, о чём мучился и чем страдал. И кажется, что никогда и не жил иной жизнью; что всё, что перед тобою, ничуть не

необыкновенно, а вполне нормально и ordinarily, что и прежде, всё было, как теперь:

Также грустно смотрит мир,
Также грустно ветер воет...

OCR Андрей Дуглас

Впервые опубликовано в журнале «Русское богатство» №6,7 за 1896 год.

Об авторе: А. Гедеонов – литературный псевдоним Александра Григорьевича Цейтлина (не путать с его полным тезкой А.Г.Цейтлиным (1901-1962), советским литературоведом). Революционер, из Ростова-на-Дону. Отбывал в Среднеколымске ссылку с апреля 1888 по октябрь 1894 года. Больше о нём пока ничего не известно.

Спутница, упоминаемая в первой части - Р.И.Лев. Это тоже пока всё, что о ней известно...